

ДОЛГОЕ
РАЗМЫКАНИЕ



*Нарцисс и Эхо
Фреска в Доме Публия Корнелия Тагета Casa, Помпеи*

Евгений Штейнер

ДОЛГОЕ РАЗМЫКАНИЕ


издательство
СОВПАДЕНИЕ
2020

УДК 82-94
ББК 84(4Рос=Рус)
Ш88

Штейнер Евгений.

Ш88 Долгое размыкание. — М.: Совпадение, 2020. — 288 с.

ISBN 978-5-903060-14-5

«Одна из целей произведения искусства — создать должников; парадокс заключается в том, что, чем в большем долгу художник, тем он богаче» — писал один поэт о другом. Автор этой книги не боится быть не только должником, но и банкротом. Именно это бесстрашие обещает обернуть долгое размыкание встречей с подлинным самим собой.

УДК 82-94
ББК 84(4Рос=Рус)

ISBN 978-5-903060-14-5

© Штейнер Е. С., 2020
© ООО Издательство «Совпадение»,
2020

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Лет так пятнадцать, предшествовавшие нижеследующим запискам, я довольно много летал на дальние расстояния — в основном из Нью-Йорка в Европу, Израиль, Японию и Москву. По-американски это называется “long haul” — «длинный маршрут». Звучит похоже на “long howl” — «долгий вой», что, пожалуй, смешно, но не в этом дело. Последние лет десять я летаю преимущественно внутри Европы, хотя Япония с Америкой никуда не делась, и даже Австралия к ним прибавилась, но всё-таки это стало происходить реже. Зато перелёты (или поездки на поезде) Лондон—Париж—Берлин—Москва и прочие города от Лиссабона до Перми — это всё ж Европа. И такой сравнительно недлинный и затверженный маршрут называется “short circuit” — что может также переводиться как «короткое замыкание». Собрав то, что собралось, я подумал было дать этим страницам такое название, обыграв «короткий (и временами довольно крутой) маршрут», но по-русски ровно половина многосмысленности пропала. К тому же взрывов электричества эмоций и ударов тока во время токовища было не так уж много. Вместо этого, по ассоциации с коротким замыканием, я придумал «долгое размыкание». С чем размыкания? — а со всем. Размыкания чего? — а всего. You name it!

Отрывки этого текста были дважды напечатаны в журнале «Зеркало», второй раз — под заголовком «Размык, ещё размык». Слова «размык» нет ни у Даля, ни в Гугле. Я его сам придумал. В нём, помимо всего прочего, есть отсылка к гарнизонной тоске сходявшего с ума художника и его собаке Фидельке. Хоть я не раз вяло думал, что хорошо бы собаку купить, но моей Фиделькой были лишь эти записи, ибо в итоге, когда размыкается, в мерцающих венах бессонниц, остается лишь этот друг единственный — который отражается в собственном стакане или тексте.

Текст этот вовсе не документ, но и не всегда выдумка. Даты не расчислены по календарю, а какие кому и почему инициалы розданы — я уже и сам подчас не помню.

В аэропорту, перед выходом на посадку, принялся играть в свою давнюю игру — в чём это я сейчас сижу? Нет, не в железном кресле или, там, в дерьме, а где я купил то, во что нынче одет. — Начнём снизу: ботинки из Нью-Йорка, костюм из Лондона, рубашка — Париж, что ещё? Часы из Нью-Йорка, купил в Музее дизайна, когда ходил за визой в российское консульство. А ремешок к ним — из Перта, поскольку некстати в Австралии порвался. Так, дальше. Носовой платок из Токио, носки, кажется, из Манчестера, трусы из Берлина, кольцо — из Иерусалима, очки — Лондон, сумка «Туми» — Нью-Йорк. Как, неужто ничего родимого российского? Ничего. А впрочем — есть в пасти старая советская пломба, которую мой американский дантист, делая мне голливудскую улыбку, не сумел выковырять и сказал, пусть сидит. Так и сидит. (И не плавится — видно, страсти во мне мало, в отличие от классика). Вот помру, разденут-помоют, все лондонские-парижские бренды на помойку выбросят. А советская пломба останется. Так голым совком с пломбой перед богом (или кем там?) и предстану. Сразу опознают.



Летал в этом, а точнее, в том году:

1. Под Новый год из Манчестера в Москву, 18 января — в Рим и Лондон.
2. Лондон — Москва — 4 февраля.
3. Москва — Лондон: середина-конец февраля.
4. Лондон — Москва: начало марта.
5. Москва — Ханты-Мансийск: середина марта.
6. Москва — Лондон: 21 марта.
7. Лондон — Нью-Йорк: 4 апреля.
8. Нью-Йорк — Лондон: 8 мая.
9. Ливерпуль — Рига: 17 мая.
10. Москва — Ларнака и обратно: середина июня.
11. Москва — Нью-Йорк: 29 июня.
12. Нью-Йорк — Монреаль — Лондон: 17 июля.
13. Ливерпуль — Жирона и обратно: конец июля.
14. Лондон — Нью-Йорк: 8 августа.
15. Нью-Йорк — Москва: 15 августа.
16. Москва — Берлин и обратно: 21–27 сентября.
17. Москва — Токио: 29 сентября — октябрь.
18. Москва — Нью-Йорк: 13 ноября.
19. Нью-Йорк — Манчестер: 12 декабря.

Три-четыре раза — для удовольствия, пятьшесть — по надобности, прочие — по глупости и безобразию. Т. е. с обратными перелётами получится примерно двадцать пять — каждые две недели в среднем.



У Джеймса Миченера, чью книжку про «Мангу Хокусая» я снова листаю, был роман *The Drifters* («Бродяги»), а в нём шринк, который всем новым пациентам велел посмотреть «Дети райка» и решить, с кем из героев они себя идентифицируют. Хороший тест, од-

нако. Помню, в десятом классе я написал на уроке записку одной девочке, с которой у меня вроде как были какие-то вяло-томительные шуры-муры: «Натали, твой маленький Батист уходит к Гаранс». Её действительно звали Натальей, а кто была эта Гаранс — решительно не помню. Я же на маленького тянул слабо, поколику в свои семнадцать лет возвышался над полом на 188 см и был прозываем одноклассниками из простых Длинным. Тем не менее идентификация была именно и однозначно такая.

А сейчас подумал, что, пожалуй, процентов 60 от Батиста во мне осталось. Двадцать я бы отдал Фредерику — в конце-концов, игривость, актёрство (на лекциях), краснобайство и волокитство во мне водятся. По десяти думал признать за Ласенером и графом де Монтре. Потом решил — нет, вряд ли больше пяти процентов от каждого из них наберётся. Зато оставшиеся десять, наверно, надо дать Иерихону. Подумал — и аж заколдовался...



Прочёл в «Нью-Йорк Таймс», что все поезда (числом 900), из Нью-Йорка отправляющиеся, негласно трогаются на минуту позже положенного по расписанию — чтобы бегущие пассажиры вскочить успели. Невольно вспомнил опыт в Манчестере, когда бежали с Габи на лондонский поезд и влетели на платформу в тот момент, когда буквально перед носом двери поезда захлопнулись. Я ещё как дурак на кнопку жал, пробуя открыть. Но двери не открылись. А поезд между тем стоял. А большие часы показывали, что до отправления ещё минута. Возopil к лениво стоящему мужику в форме и с флажком, на что он спокойно ответил, что двери, согласно инструкции, закрываются за 40 секунд до отправления. После

этого поезда стоял ещё добрую минуту, и я мог пинать его ногами. Следующий был через час, и на него надо было покупать новые билеты (фунтов по 40 или 60), поскольку купленные заранее по интернету со скидкой билеты действительны только на один конкретный поезд. Добрая старая Англия, однако.

Вообще, хоть я лет десять поди уж как практически все билеты покупаю в интернете, восхищаясь возможностью будучи в одной стране, купить билет из другой в третью, спокойно выбирая лучшее время и цену, ситуация делается всё хуже. Больше ограничений, больше «security». Особенно почему-то на железной дороге. Вот покупал билет из Парижа в Гейдельберг — если по интернету загодя за месяц, то можно за треть от цены в кассе. Но ни обменять, ни опоздать, да при себе ту же кредитную карточку иметь, которой платил, для сверки с билетом. И никому другому — к примеру, сыну-шалопая, без денег посреди Европы зависшему — купить нельзя. А раньше было можно. И такой разницы в цене между интернет-билетами загодя или в кассе перед отправкой — не было. Т. е. в те же раза три билеты в кассе на тот же день и выросли за последние лет 15. А вот, помню, в начале девяностых, будучи ещё гостем в Нью-Йорке, ехал с Пенн-стэйшн в Нью-Хэйвен. Купил билет прямо перед поездом, да запутался в подземных лабиринтах и сел в поезд, идущий туда же, но принадлежавший другой компании. Вошедший контролёр мне это объяснил, попросил заплатить за билет (не штраф!), а тот, другой компании, — сдать в кассу. Что я и сделал, несколько часов спустя после означенного времени в том, неиспользованном, билете. Получил всё сполна и дежурное спасибо впридачу. Думаю, сейчас это невозможно по всем статьям сразу. Мир чудовишно изменился. Глобализация... Но, кстати, Нью-Йорк подвержен этому меньше прочих мест, потому как он был

Вавилоном всегда и имеет закалку. Менее разрушается от нашествия, чем традиционная Европа. Короче, я соскучился по Нью-Йорку.



29 сентября, в аэропорту Дублина

Сидя за столиком «Верхней корочки», в углу, за согревающим капучино, увидел, как шла к лифту женщина с младенцем в рюкзаке на спине и двумя девочками постарше рядом. Хорошо выглядела — прекрасная фигура и выражение лица приятно-осмысленное. Багажа много, но в меру. Милое европейство. Почему путешествует одна с тремя детьми? К родственникам ли едет?

Вспомнился Алан Дершовиц, коего перед отъездом в «Барнс энд Нобл» купил и в сумке таскаю — «Исчезающий американский еврей». Сам-то он вовсе не исчезающий. На каждой странице истории про себя («Однажды на приёме в честь Колина Пауэлла и меня...», на следующей странице: «Однажды на чествовании Исаака Башевиса-Зингера и меня...») или про своих многочисленных родственников — то про сына, то про ортодоксальных из Боро-парка. Почему-то это раздражает и отвращает. По идее, почти всё, что пишет, правильно и созвучно, но этот кагал и байки про свои заслуги напрягают. Тоже мне — «исчезающий»... А вообще, идея очевидна — освободившись и зажавшись, американские евреи перестают быть евреями. П., кстати, яркий пример — ни религиозного воспитания, ни всего остального, кроме разве что патологической (чрезмерно-деструктивной) заботы о детях. С чем-то традиционно еврейским утеряны навыки и позывы к чтению, к росту. Напрочь (окей, м. б. не совсем напрочь) отсутствует понимание иронии, пресло-

второе еврейское остроумие — способность шутить над собой и чутьё к языку.



В самолёте над Атлантикой

Ливерпуль — имперский порт с величественным центральным ансамблем, музейным сити-холлом и неизбежной триумфальной колонной. Грандиозный порт — морские ворота империи (а также порт убытия миллионов эмигрантов). В огромных доках (Albert's Docks) — музеи морской истории города, таможни (интересно), эмиграции (тоже), работоторговли (любопытно, но как-то противно) и т. п. По соседству — The Beatles' Story. Довольно большая экспозиция с акцентом на ранние годы — в школе, в баре “Kasbah”, в Гамбурге (где они жили шесть недель в комнатке без окон за экраном в кинотеатре и ходили умываться в туалеты для публики. Был в «Каверне», где они отыграли за полтора года 274 раза! Жарко и сыро, с потолка вода капала. «Каверну» закрыли в 1973 и воссоздали в 1986. Сейчас есть Cavern Club и Cavern Pub. В последнем провёл два часа за кружкой пива. Публика — от сорока или по шестьдесят с лишним. Группы пожилых дяденек — кто в хипповых жилетках и тишортках, кто в костюме с галстуком. Громко играли и пели на низенькой стене — гуляли себе отменно свободно и подомашнему. Песни битлов и из пятидесятых. Начали с *We're on our way home, we're going home*. Сдавило.

Пожилые мужики в «Каверне» — на вид средне-благополучные. Но душою — в начале шестидесятых, когда ходили мальчишками в этот подвал слушать битлов. Битлы пошли дальше, а эти остались. Не вышли в большой мир и большие люди. И довольны. И ещё один был — тоже лет шестидесяти с чем-то. Маленький, скрюченный

буквой Г, с лицом, обращённым книзу — вероятно, от одинокого хождения и сидения, уставившись в стол или пол. Так и сидел он, то подпирая скулы кулаками, то полностью утопив лицо в ладонях. Сидел он за столом веселых старых музыкантов — но пришёл один позже и сидел, не разговарывая. И вот встал, взял микрофон и запел *Blue suede shoes* — вполне затверженно и складно, ручками и ножками помахивая и притоптывая. Фарс. Но какой грустный. Интересно, чем он занимается? Что делал эти 45 лет? Что будет делать, пока не умрёт? Последнее более-менее очевидно: таскаться в «Каверну», пока скрюченные ножки носят, сидеть молча и скрюченно, а когда носить перестанут — лежать в приюте для престарелых, слушать в наушниках эти песни и петь их время от времени вслух с закрытыми глазами. А дальше? — Как Элеанор Ригби, памятник которой стоит на углу от «Каверны», а реплика с надгробного камня (1630) красуется в музее в доках. Памятник посвящён “To all the lonely people”.



16 ноября, Москва

Новое приобретение — ОЛ. Подошла после моего доклада в Институте Философии (про Номо Iaronicus). Мило-видная, но немножко, пожалуй, не в моём вкусе. Позвала в Полит.ру (ОГИ, Билингва) читать публичные лекции — там читали Кома Иванов, Померанц и др. В минувший четверг ходил туда знакомиться с В. Лейбиным. Была лекция, потом — выпивка. За столом из десяти шибко продвинутых человек — москвичей лишь ОЛ (на том основании, что родилась в военном городке в Подмосковье, где служил папа-офицер) да я, заморский лишенец. Двадцати лет не прошло — а население полностью сменилось. Кстати, на том же моём докладе была некто Оля Ф., ко-

торая отреагировала на моё имя и позвонила в Ригу Эвелине спросить, не тот ли я давно потерянный друг Женя Штейнер. «Тот, тот», — закричала Эвелина (которая потом мне всё это пересказывала). «Странно, — сказала Оля, — он не похож на человека, родившегося в Москве». Типичный американский профессор». Так-то-с. Или это я от Москвы так далеко отъехал, или Москва от меня?



Вот что мне в ночи пришло в голову по поводу захвата Института философии Пушкинским музеем. Интересно, было ли подобное предложение вообще когда-либо кем-либо высказано?

Уйти из этого района должен не Институт философии, адекватный и соразмерный своему месту, а Музей, который абсолютно не соответствует тому назначению и характеру, для коего строилось здание на Волхонке, 12.

Построено оно было, как известно, для университетского учебного музея слепков — потому и маленькое такое. (Слепки, кстати, они практически всё время держали под спудом, когда после революции сволокли туда всё заграничное «национализированное» у «бывших», а несколько лет тому назад их и вовсе вывезли — в РГГУ. Нехорошо, стало быть, обошлись с главной идеей основателя Музея — сочли всё, что он насобирав, барахлом, и увезли куда подальше).

Сейчас, когда изящное клейновское здание не вмещает всего (неправедно) ГМИИ приданного, практика присоединения маленьких окрестных домиков, чтобы сделать «музейный городок» — порочна и нелепа в архитектурном и собственно музеологическом отношении. Большой мировой музей — это большое здание выдающейся архитектуры (возможно, с маленькими техническими службами на заднем дворе). Но никак не разно-

шёрстный конгломерат разновременных, разномастных и разновеликих объемов, рассредоточенных в нескольких сопредельных кварталах. Рытвё подземных туннелей, м. б., и не столь плохо с точки зрения прокладки коммуникаций, но только это не имеет отношения к созданию действительно главного художественного музея столицы — единого организма, как в выставочном, так и в архитектурном отношении.

Нынешний несоответствующий ни своему зданию, ни замыслу основателей, должен уйти с Волхонки — на большую просторную площадку, где для него должны спроектировать и возвести его собственное здание. Делать же лоскутное одеяло, хапая без системы (и совести), всё, что имеет несчастье оказаться рядом, говорит прежде всего об узости мышления и невозможности оперировать крупными архитектурными проектами.

А в здание на Волхонке надо вернуть слепки и восстановить его статус учебного музея.



Вечером в декабре, в аэропорту Вашингтона, столицы новой родины, которая встретила едва ль не тотальным разведением и отбиранием двух зажигалок. Залезли в карман куртки и в сумку — видимо, решили что приличные люди из Москвы не прилетают. Гнусаво-азиатские голоса вокруг, давка.



Вспомнил, как несколько лет назад ехал я по линии А в даунтаун. В каком же году? — Так, ехал я заступить на ночную смену в DEA, а здание это было выведено из строя после арабо-мусульманского налета (9/11, то бишь) —

значит, летом 2001. И вошла, кажется, на 181 улице девица, уселась наискосок, так что наши коленки почти соприкасались, раскрыла книжку и стала читать. Скосив глаза, я увидел, что это «Пейзаж, нарисованный чаем» — который я в те дни читал и был страниц на пять, не больше, впереди этой девицы. Книжка эта, Джулианой подаренная, лежала в сумке, но почему-то я тогда не читал. Книжка, кстати, была украшена автографом Павича (не мне — Джулиане, которая, видать, сильные чув-ва ко мне питала, коли книжку подарила).

Так или иначе, я не мог не улыбнуться и хотел тут же свой экземпляр достать и девице предъявить, автографом похваставшись. Она же мою светскую улыбочку заметила и скромно, но не без некоторого телодвижения потупилась. Не буду доставать, решил я, лучше скажу что-нибудь умное про Афанасия и Милену — так, кажется, их звали в том самом месте, где она раскрыла. Но не сказал. Вместо этого стал придумывать, кем она может быть. На 181-стрит вошла — значит, в приличном конце Беннет-авеню живёт или на Оверлук-террас, как Little Julia. Или в Yeshiva University учится, хотя на вид постарше. Вроде, приличная девочка должна быть, но какая-то не инспирирующая. Не страшенькая, но и не так уж хорошенькая. В общем, сидел, глазки строил — когда она свои, от книжки на меня поднимая, скидывала.

И вот настало мне выходить на 14-й улице, и тут она раньше меня встаёт и идёт к выходу. Я удивляюсь, но следую сзади. Думаю, нет, это уж слишком, надо девушке сказать пару ласковых, но с другой стороны, нафиг мне это надо, да и на дежурство можно опоздать. Между тем из десятка выходов девица выбирает именно мой (далеко не самый популярный), поднимается по лестнице, опять же на меня оглянувшись, и, наконец, выходит на Восьмую авеню, а мне на 16-ю стрит сворачивать. Свернул,

прошёл пару шагов, подумал, нет, в этом был какой-то смысл — как часто ко мне в сабвее подсаживается русская приличная барышня, ту же самую книжку (отнюдь не последний хит сезона, а за несколько лет до того опубликованную) читающая и на той же станции вышедшая да на меня как-то поглядывавшая? Короче, повернулся, побежал назад, но её уж не увидел.

Так и не знаю, к чему это было. Но вполне в духе Павича...



В Манчестере простился с П. спокойно-холодно. По дороге остановился в Риге, навестил Эвелину. Ездили в Юрмалу — Дзинтари. В Москве неожиданно в аэропорту встречала ОЛ, повезла на съёмную квартиру, которая оказалась на одной с нею лестничной площадке. Выдержал там неделю и съехал на Грузинский переулок в квартиру какой-то немецкой фирмы к Яне — довольно взбалмошная девица, которую подцепил в Ханты-Мансийске.



13 сентября, Москва

Сижу в Красном зале Института философии. Богатая лепнина — пухлые пугги с виноградными гроздьями. Под ними — Карл Маркс в медальоне, слегка запрокинут — будто уже торчит. Как-то неприлично. Но, с другой стороны, он ведь из семьи мозельских виноделов... (на докладе про Григория Паламу и Мейстера Экхарта, который бубнит по бумажке помятый молодой мужик).



26 сентября, в аэропорту Берлина

Провёл в Германии шесть дней. Вылетел сразу после лекции в четверг; был встречен в Шёнефельде Карстеном с Дитером и Патечкой, которую они за час до этого подобрали в Тегеле. Прилетели на день рождения Кристины. Жили в Дессау, ездили в Тортен, смотрели на закрытый ресторан «Вальдшенке», где папа познакомился в 1945 с мамой Кристины, то бишь, Гертрудой. Видели солдатские казармы в Кохштедте, в которых после войны стояли советские офицеры, а во время войны — нёсший вспомогательную службу в вермахте отец Дитера. Сейчас в этих казармах живут переселенцы из России и радуются. Были в Домах мастеров в Баухаусе — там ни души посетителей. Подговаривал Патечку прилечь в кроватку Кандинского — побоялась. Обозрели жуткие Стальные дома для рабочих Гропиуса, которых настроили 314, маленьких и одинаковых. В одном из них зачем-то устроили крошечный музей Мозеса Мендельсона. Когда стояли у баухаусного ресторана «Корнхаус» на берегу Эльбы, подъехал автобус, откуда вылезло множество немцев, западных, как выяснилось. Один, узрев у меня на голове кипу плюш, которую я нацепил в честь Рош ха-Шана, спросил, не из Израиля ли я, и долго тряс руку со слезами умиления. «Любите Баухаус? — спросил я, — Приезжайте к нам в Тель-Авив — самый баухаусный город мира, построенный родственником здешнего Мендельсона». Кстати, в прошлый приезд в гостинице, услышав мою фамилию, какую я произнёс на немецкий манер (говоря на своём рудиментарном немецком), хорошенькая девушка за конторкой спросила, не немец ли я. «Нет, не немец, а израильтянин», — ответил я. — «Это мои дедушка с бабушкой были немцами до 1935 года». Девушка на секунду застыла и молча продолжила заполнять карточ-

ку гостя. Не знаю, зачем я так наврал — наверно, хотелось на реакцию посмотреть.

В Берлине ходили в Еврейский музей Либескинда, где я уже бывал, а Патечка — первый раз. И там, в Башне молчания, бедной сделалось дурно...



30 сентября, в небе над Восточной Сибирью — лечу в Японию

Смотрел фильм «Курьер» — узнал пару моментов, но с трудом вспомнил, что смотрел его когда-то при советской власти. Там парнишку всё время донимают взрослые: «Что ты хочешь от жизни?» — Г-ди, а как я отвечу? И ведь не 18, а 50 уже. Не знаю... Спокойной жизни с П.? Отношений с детьми? Достойной работы? — Вот позавчера Антонова сказала, что даёт 15 тысяч в месяц и всякие блага, включая «Я позвоню своему другу Юрий Михальчу, и он вернёт вам вашу квартиру». Смешно. Не уверен, что я этого хочу. Угрюмо забыться и заснуть. Как я давно уже говорю: уехать в путешествие. Но не так, как обычно, а надолго. Видеть красивые места и т. д. Спокойно сидеть на лавочке с видом на Везувий. Интересно, почему из меня Везувий выскочил? — наверно потому, что меня тянет развалиться на лавочке там, где может взорваться.



Ол дала отлуп — я, видите ли, очень холоден. Шарахаюсь, когда хочет поцеловать. И то. Никакого кайфа с ней целоваться. Хотя и был к ней дружелюбен и мил. Но права собственности на меня — это даже возмутительно.

Видел НШ — у неё с годами испортился характер. Ейный Клюгман терпит. А я бы? — Не уверен. Ходили с нею на открытие выставки искусства братских среднеазиатских народов, которую организовал Витя Мизиано (видел его за день до этого в Клубе на Брестской, куда ходил с ОЛ — дулась и устаривала напруг). Там (у Мизиано) видел Д. Гутова, который позвал в ГТГ 31 октября на свою инсталляцию. Занятно. Встретил там того же Мизиано, Л. Бажанова и Г. Забельшанского. Помирились. Гриша рассказал, как пришёл в Музей к Тане Юшкевич, а она ему: «Пойдём, покажу тебе сына Штейнера». Это когда Габи поддался на мои уговоры и походил недолго в Клуб юных искусствоведов.

В тот же вечер был в Доме русского зарубежья на вечере Светланы Голыбиной. Исполняли ту же «Медведиху», что и в середине восьмидесятых в Доме учёных. С тех пор и не видались. Облобызались. Сказала, что живёт нынче во Франции, а Нина Дроздецкая защитила вчера диссертацию по древнерусским распевам. Кейдж — остался в далёком прошлом.

На следующий день — на Винзавод: послушать С. С. Хоружего, вещавшего молодым художникам про божественное — в рамках нового проекта Кулика «Верю». Смешно. Подвал (князя Голицына) в 4-м Сыромятническом переулке впечатлил — новые катакомбы. Сидели при свечах, закутанные в одеяла.

Восьмого, кстати, читать у него в институте доклад про дхарму и куда уплывает сознание при сатори.

Позвонила Таня К. и попросила рассказать о проституции в Японии в своём кафе «Тёмные аллеи» 12 числа, как раз накануне отъезда.

Ещё Антонова заинтересована, чтобы я взял на себя хранение Беаты, а также коллекцию японского оружия и ещё что-то из «пропавших шедевров». Провёл в Музее весь день 30 октября по поводу каталога. Он — ужасен.

Бедная Беата. Сдача в производство была назначена на 31 октября. Отмена! Я — научный редактор. Работы — бездна...



7 ноября, вечером, на Грузинском

Был в Музее. Антонова предложила 75 000 за редактуру. Сидел у Савостиной (её новый зам.), пришла Фая — «Ой, по музею с утра крик: “Женя Штейнер появился!”» Савостина позвала в Випперовские чтения рассказать про японские маски.

Подготовил доклад на завтра. Звонила только что Света Г. — просила «очень-очень-очень» позвонить Н. Я. оказывается, один из самых главных людей в её жизни. Батюшки, чего только не бывает. Как-то мне невдомёк бывает. Вот общался недавно со старинной знакомицей Олей — лет двадцать не видел. Долго мялась и жалась, но не вытерпела, спросила — правда ли у меня был в те юные годы роман с NN? Ну, не то чтобы роман — целовались немножко, в кино ходили... Вот — а оказывается, на NN это произвело сильное впечатление на много лет вперёд, и даже сына назвала в мою честь. Страсти какие... А я умудрился не заметить. Хорошо, что хоть с сыном без меня справилась.



3 декабря, на Hillside Avenue, 4:40 утра

Все дни делаю каталог ГМИИ. Чудовищный уровень — не вычитан, не унифицирован, а главное — столько ошибок! Особенно общевостоковедных — по китайской класси-

ке, японской литературе и истории... Ну сама не знает — но ведь кто-то ей надписи читал (видно, что иероглифы понимают). Но не знают, что такое, например, фамилия Сога, и переводят чёрт те как — пытаюсь семантизировать иероглифы и получая полный нонсенс. Или в китайской серии «24 примера сыновней почтительности» видят в картуше 孟宗, лезут в простой словарь и читают: «бамбук тропический», не зная, что это имя Мэн Цзун — в честь которого бамбук и назван. А ведь если не знали эту конкретную историю — могли посмотреть в широко известных «24 примерах». Название серии ведь там же и написано. Ну или как они умудрились не знать, что в картуше пишется имя персонажа — и по такой подсказке хотя бы искать не бамбук, а персонажа!.. Непонятно: почему за пятьдесят лет работы хранитель ничего не узнала? Ну трудно, ну требует времени — но ведь у неё же было 50 лет! Вот я никогда не видел ранее этак с половиной сих довольно средних картинок — и достаточно быстро ориентируюсь, где искать. Т. е. за полчаса-час могу узнать больше, чем она за годы! Очень странно. Такая красивая и не дура. Держалась всегда приветливо и с достоинством...



Лекция в клубе «Салмагунди» на Пятой авеню — говорят, большой успех. Позвал туда Сильвию — наутро письмо: “Amazing talk...” А Мелани совсем сбесилась — так неприятно об этом думать и беспокоиться...



Сегодня умерла Шизгара — Маришка Вереш из «Шокинг Блю». Я точно знал «Шизгару» с года 70–71 — много лет

не догадываясь, что эта венгерско-цыганская и франко-русская по происхождению голландская певица пела всего лишь “She’s got it”. Помню, как услышал эту песню в исполнении вполне аутентичных постаревших хиппи на канале в Амстердаме в апреле 1995 во время общегородской попойки по случаю дня рождения королевы и чуть не прослезился. И вот она умерла, и было ей 59.



12 декабря, в самолёте в Манчестер

Как всегда долго возился, потом сабвей стоял прямо перед JFK, в итоге вошёл в терминал и встал в маленькую очередь в 7:00 (ОК, в 7:03). Вылет — в 8:15. Через 2–3 минуты чёрная тётка подозвала к стойке. «Манчестер? Рейс уже закрыт». — «Как закрыт?» — «За час закрываем». — «Но ещё час десять!» — «Не спорьте с официальным лицом. Мне не нравится ваш attitude». Трёхминутную тираду закончила нервным тыканьем одним пальцем (мешали дюймовые лиловые ногти) в компьютер. Нехотя велела ставить на весы багаж. 69 фунтов. «Разрешено до 50!» — «Было же всегда 72!» — «Правила поменялись. Вынимайте или оставайтесь». Переложил с десятков книжек в пакет. На подходе к воротам увидел надпись: «Приём багажа заканчивается за 30 минут до вылета». Вот гадкая тётка!



24 декабря, Лондон

Был в гостях у Джона Карпентера, знатока суримоно и специалиста по каллиграфии. Надавал массу советов —

в частности, не связываться с публикацией такого дерьма — много позднейших копий, ещё больше — известных гравюр в очень плохой сохранности. Многие он проглядывал за 3–5 секунд: «Эта хорошо известна, эта — не пойму что, в очень плохом состоянии — не заслуживает внимания». Предложил рассказать о коллекции ГМИИ у них в СОАСе и сказал о возможности присоединиться на год к Институту Сэйнсбери по изучению японского искусства.



«Бесконечно хочется тепла» — поймал эту песенку много лет назад в интернете — кто-что не знаю, но привык. Пробирает. Весь день думал о П. Хочется позвонить и сказать: “I hate you”. Был на лекции в Witworth Gallery: “Bilbao Effect, the Da Vinci Code Syndrom or Just Museum’s Magic (from Dull to Brilliant)”. Были Джанет Вулф и Хелен Рис, а Пэтти не было.



Поехать в Центральную и Восточную Европу — Долететь до Праги, а там на машине — Будапешт, Галиция, Ужгород, Черновцы, Вижница, Кишинёв...



Читаю «Чёрного монаха», слушаю *Desert Train* — и опять страстно захотелось куда-то уехать. Час назад поймал себя на мыслях о Марине и путешествии — по небывшему прошлому. Т. е. бывшему, но не своему.



Неожиданно достал *Any Human Heart* и зачитался. Так похоже — женщины, писание, страсть к перемене мест... талант и глубокая неудовлетворённость. И талант — то ли небольшой, то ли не для всех, только для сумасшедших.



24 апреля, в самолёте в Дублин

Послал «Письма из пространства» Комару — коего видел в пятницу на открытии какой-то выставки в галерее *Art Propaganda* на Wooster St. Убогое искусство, дурацкая толпа — немолодые, вульгарные. Какая-то бабища пристала с рекламой своих чтений. Обещала прислать книжку своих рассказов — нет как нет, и выпросила книжку «Писем» — пытался отказать, но оказался слаб.



*28 июня в аэропорту Амстердама,
жду самолёт в Манчестер. Вечер, солнце*

Стал читать интеллектуальный детектив Юлии Кристевой «Смерть в Византии» — некий профессор открывает в себе переселенца, мигранта — наиболее естественно и комфортабельно существующего в «транзитной зоне» — в дороге. Т. е. это я своими словами перелагаю и, возможно, сместил акценты под себя.

Видел М. — аж три раза. Долгие разговоры и роскошная еда у неё, оставшаяся от гостей накануне. Купил васильки — и забыл принести. Зато явился с лукошком земляники, которое, передавая, неловко опрокинул. Рассыпалась по полу — ринулись собирать, ползая по полу, но руками не столкнулись. А жаль. Ка-

жется, она единственная женщина, которую робею трогать руками, в отличие от прочих, кого и не робею, и не люблю.



Вчера случайно услышал *Manchester et Liverpool* в исполнении Мари Лафоре — редкая красавица, французская певица хипповых лет — родилась в 1939. Подумал: тот стиль и тип красоты в меня впечатался, когда был подростком, а песня эта (без слов) — вошла с прогнозом погоды в программе «Время» (оркестр Поля Мориа). Впрочем, помнится, в те годы и русский текст был: «Вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди...» Долго думал и послал всё-таки М. Быстро пришёл ответ: «Спасибо, а что ты имел в виду?»



Прочёл Шишкина «Венерин волос» — вроде, тронуло, но не уверен, что понравилось. Отдельные места хороши, а некоторые невнятны. (Прям как у меня). И самое главное — как-то странно слеplено: нет убедительной связи греков, чеченцев, армии, Швейцарии, воспоминаний про любовь и дневника старухи. Или я ничего не понимаю в новой литературе?



24 июля в самолёте в Ньюарк.

В томлении и лени, не желая писать про гадких интриганов передвижников в *Cabiers du Monde Russe*, смотрел помногу всякую фигню в интернете — в частности, мод-

ные ЖЖ. Вот пишет один, совсем неглупый — часто остроумно, свободно, раскованно, всё знает... Но вот в таких чрезмерных выражениях — «лучший фильм года» — об «Эдит Пиаф». Ну это вряд ли. (А сценаристка, с которой познакомился в Париже на вечеринке у Надин, — вообще какая-то невыразительная). Ему восторженно отвечает какая-то дурёха, сообщая, что его папа открыл ей Францию своими книгами — спасибо большое. Всё-таки у меня вкус радикально отличается от этих тусовочных и продвинутых. Или я ничего не понимаю — и злобный лузер-аутсайдер, или в той ораве — такой безвкусный китч... Вот профессора Тупицына читал — историю его художественной деятельности в письмах Андрею Монастырскому. Иногда интересно, иногда даже трогательно, но чаще всёго — какое-то эстетическое убожество на фоне mind-boggling философической терминологии. И опять же изгойство. Какая-то фракционная возня с мордобоем и доносами. Вот делают в большом мире выставку Малевича (в Гуггенхайме) — а они протестуют против коммерциализации авангарда и устраивают демонстрацию перед входом в музей с приставанием к бомондным пожилым дамам. Называется «Страсти по Казимиру». Нет, я решительно не вписываюсь в это — если б и захотел.



26 июля, Нью-Йорк

Стоим с Пэтти в Cosmopolitan Club на 66-й улице, затракаем на крыше. Шрамы её ужасны, меняю повязки. Были в кино — *Evening*, про умирающую мать и двух дочек. “Life is a waste and failure”. В Еврейском музее на выставке Луизы Невельсон (оказывается, она уродилась Леей Берлявской) встретили Дэвида и Эшли, с которыми по-

том пообедали в *Bistro du Nord*. На следующий день — в *МОМА* на выставку Ричарда Серры — его огромные ржавые железные стены, странно-тревожно изогнутые и наклонные. Пожалуй, один из немногих случаев, когда абстрактное искусство производит впечатление великого. Но в экспозиции ДИА-Бикон его инсталляции выглядели лучше. Там же (в *МОМА*) была небольшая выставка Сюй Бина — «Универсальный язык» — не столь интересно, как его ранняя «Книга с Неба».



14 августа, Эдинбург

Путешествуем на машине по Шотландии. Встречались с Сашей М. — ныне профессор в Эдинбургском университете. Давно развёлся, живёт один, работает с мышами, шотландских знакомых нет. Квартира большая, но совершенно необитаемая — выглядит так, будто он в неё въехал месяц назад, а не несколько лет. Ругает климат и недостаток культурной жизни. (Сейчас идёт Эдинбургский фестиваль).

26 августа

Только что вернулся из Цюриха, куда ездил по приглашению Джона Карпентера на воркшоп по суримоно в Ритберг-музей. Великолепный музей — на вилле Кампендонк, где жили Вагнер и Брамс. Думал показать там японским специалистам свои картинки из Пушкинского — было неловко: выцветшие, драные.



18 октября, еду в Норич на ланч с бенефакторами

Вчера приснился удивительный сон с М. — около полудня (лёг накануне около пяти утра, окаянный гмиишный каталог делал). Снилось, что пришла ко мне домой — где, не понял — похоже в *Asia House*. Меня не было, она села на ступеньки, тут и я подошёл. Увидел её снизу, на лестнице сидящей в широких развевающихся штанах. Всё-таки она такая милая. Думаю ей позвонить уже недели три... Вяло, как Обломов. Боюсь облома.



Нахватал зачем-то каких-то лекций в Москве на январь — «Сон и сновидцы в японской традиции» в РГГУ, «Глаголь: добро есть!» для Института культурологии, «Путь и путник в японской гравюре» для Випперовских чтений. Готовя текст про кириллицу, заметил, как много в интернете всякого русопятого дерьма — «русская письменность зародилась в палеолите», «русские жили по всей Евразии — этруски и т. д.» — и этот бред пишет д-р философских наук, профессор и председатель комиссии по изучению Древней Руси в Российской Академии Наук. Неприятно, что занесло на этакое. А 30 января — рассказывать про гравюру в СОАСе и в феврале — в Нориче, потом про «Победу над солнцем» как первый звонок к полному затмению — в Институте Курто.



21 марта, Lakeshore Country Club, Гленко

Прилетел с Пэтти в Чикаго на 80-летие Джози — в великолепной форме дама. По пустыне Гоби на верблюде ездит, а в клубе всюю отплясывает. Чикаго и впрямь город

ветров — по дороге из Института искусств, куда ходил в запасник смотреть свитки школы Сога, ветром сдуло берет с эмблемой музея Ешива-юниверсити. Едва догнал.

Ночью был снегопад, утром — всё блистает, как в жизнерадостном старом фильме. Приснилась Лёля, которая радостно рассказывала, что всё стало на всех фронтах совсем хорошо, в университете дали постоянный статус и сделали профессором по кафедре Непроверенных теорий в искусстве. Именно так. Проснувшись, долго думал, к чему бы это, и решил, что мне больше подошла бы кафедра Недоказуемых теорий.



11 апреля, Манчестер

Прочёл в новостях, что тело Ани Альчук выловили в Шпрее у моста Моллендам. (Пропала в Берлине в середине марта). Я познакомился с ней на Новый Год 87 (или 88?). До отъезда много общались. Последний раз — в 2007 на открытии выставки «Верю» на Винзаводе — окликнула и сказала, что читала в Берлине «Письма» (где и про неё было). RIP.



Так поздно (что скорее уже просто рано) ложимся — уже как-то не до любовных утех. Или это после больших перерывов — Лондон, Москва, Нью-Йорк — уже как-то притерпелись, либидушка привяла... Но вот как раз в этот момент впорхнула, прелестница, в кимоно — седактирует...



16 апреля

Были на День рождения в Уэльсе — объехали три живописных городка на машине и остановились в (псевдо) готической библиотеке Св. Дейниоля (St. Deiniol Library) — бывшем поместье Гладстона, где дают уют странствующим учёным. В библиотеке в основном книги по теологии. Славная трапезная с двумя общими столами и лавками.



17 апреля, Манчестер

Читал *The History of Love*. Собственно, это история одиночества и несвершаемости (как сказать, unfulfillment?). Это уже третий экземпляр — первый потерялся где-то в Нью-Йорке, второй — подарил М., а этот купил в аэропорту Ньюарка для П., но читаю сам. Напоминаю себе шлемиля, как сказал бы Лео Гурски.



25 апреля

В лекции в Институте Курто про ориентализм говорил о перетекании романтического ориентализма в японизм. Помню, ещё на лекции в Studio School в Нью-Йорке в 2001 хитроумно, но искусственно выводил изогнутых куртизанок из сизого дыма гашиша парижских романтиков. Как в декадентском стишке, написанном в семнадцать лет:

В сине-дымчатом сумраке спальни
Еле слышен был запах гашиша.

Сонмы звуков устало-печальных
В серебристом... [чёрт, не помню, что там было
серебристое] дышат.

Тогда много читал символистов в переводах Брюсова.



26 апреля, вечер в Goodenough Club, Лондон

Открыл и-мэйл: Мещеряков из Москвы пишет, что в среду умер Маевский. Вот так — едва перевалив за 60. Помню, как на сорокалетие ходили с Л., сочиняли шарады. Что же я тогда сочинил?

Наследственное ремесло Сократа
Посередине рассеки.
И князя древнего, что основал когда-то
Первопрестольный град, к началу привлеки.
Тогда получишь целого картину —
Сорокалетнего роскошного мужчину.

Так, а про Л.?

Мой первый слог имел семью, богатство.
Потом стал пастырем, заблудших пас овец.
Апостолом хвалим, хулил он святотатство
И через то приял терновый свой венец.
Второй же слог похож на восклицанье.
В серальной полутьме от турка тешит взор.
А третий слог с изрядным прилежаньем
На гзымсах эллин тешет с давних пор.
А в целом притаился рой дерзаний,
Чей пёстрый не иссякнет фараон.

Что самое удивительное, публика быстро схватывала. Кто-то знал турецкие восклицания, а кто-то из университетского курса помнил декоративные штукотины на гзымсах. Ну а «Пастырь Ермы» — кто в те годы про это не слыховал! Так, а что же про меня тот же Маевский сочинил?

Со слогом первым неразлучен был Сизиф,
Хоть Гёте называл его иначе.
Второй же слог навеки упразднил,
Нарком решил культурные задачи.
А целому, возьмётся козь за дело,
Всё удаётся — малое и в целом.

Давние потешки...



На обеде в Курто меня всё донимал некий Алексис де Тизенгаузен — глава Русского отдела Кристи, из первой волны с приличным, но сильно иностранным русским языком, а также муж Алии Акынбаевой де Тизенгаузен — активной аспирантки из какого-то постсоветского стана. Помянутый барон был весьма воинственно настроен и всё пытался меня укорить за то, что я не сказал про Верещагина того или сего. Я кротко отвечал, что у меня не было задачи пересказывать биографию великого мастера критического реализма.



На следующий день явилась за консультацией студентка Сары Уилсон из Курто — некто Маша Байбакова. Пишет магистерскую диссертацию по детским книжкам

Кабакова и альбомам «10 персонажей», которые она хитроумно пытается объединить с книжками. Помню из пионерского детства — товарищ Байбаков, председатель Госплана. Дедушка. Квартира на Columbus Circle. Дала огромный каталог детских книжек Кабакова, выпущенный в Японии, где сейчас проходит выставка. Помню, года два назад ездил с Пэтти и членами Арт-форума к нему на Лонг-айленд, где страшно заинтересовал Илью (по крайней мере он изобразил живой интерес) к устройству выставки его детских книжек. Он тут же было полез их доставать, но из другого угла бросилась наперерез Эмилия и попытку пресекла. «Мы не будем делать выставку детских книг», — сказала она сурово. Смешно. Этот нынешний каталог Байбаковой дала как раз Эмилия — вместе с предложением «написать что-угодно» в каталог следующей выставки в Зальцбурге. И это смешно. Точнее, противно.

18 мая, 3:45 ночи

Весь день читал Стасова — решил доделать статью про Крамского. Чистый Мамай Экстазов (это его так Буренин прозвал). И врун. Интересно, неужели никто раньше не замечал, как Стасов построил (довольно топорно и лживо) миф про передвижников, имевший весьма мало касательства к реальной картине.

26 мая

Закончил статью — 2.5 листа и 127 примечаний. Назвал «Борьба за народ или за рынок: Крамской и передвижники». Т. е. по-английски это, разумеется, ещё лучше: *The*

Battle for the 'People's Case' or for the Market Cause: Kramskoi and The Itinerants. Много наката для сравнения о институциональной системе заказов во Франции, о галереях в Англии и Франции — начиная с Дюран-Рюэля, Жоржа Пти, Гарбарта и Гупиля.

Я хочу поехать в Венецию и другие города Италии. На юг Франции. В Нанси. В Португалию. В Данию-Швецию. В Австрию-Венгрию. В Израиль, конечно. Но почему-то еду в Москву. Вот билет купил.

13 июня, Манчестер

Как старый джентльмен былых времён, приобрёл привычку сидеть после позднего обеда с бокалом арманьяка и трубкой, пуская клубы своего любимого ежевичного, который для меня специально заказывает старый табаконист Билл на Ст. Джеймс-стрит.

30 июня

Столкнулся в метро на Проспекте Маркса с М. Вот так встреча. Сама окликнула. Договорились, что приду в гости. Купил вина, два сорта сыра, взбил кудри, повязал бантик и отправился. С дороги позвонил, но что-то не понравилось в голосе, ажитация пропала, сказал, что промок под дождём, повернул обратно и в Нескучном саду как истый

клошар выжрал бутылку бургонского и закусил двумя сортами сыра.



В субботу встречался с ОД, ходили в ОГИ — крупная женщина, чуть более эмоциональная, чем мне адекватно. Мной восторгается, а почитать охоты нет...



В среду в РГГУ делал доклад про комические образы власти в японской гравюре, а на следующий день в Билингве читал лекцию про Ориентализм. Пришли Твин, ОД, Дима Гутов, Саша Сосланд, Женя Кнорре и ещё кто-то. А всего в зале было человек 70. Потом поехали на двух машинах на Винзавод. ОД была очень эмоциональна, всё Ясиком восторгалась — который там болтался с художницей Алисой Иоффе из Ташкента. Она особа выставила там вышивку по мотивам советского паспорта. Авангардненько так.



Звонила несколько раз М. — спрашивала не простудился ли я под дождём. В итоге иду к ней завтра после заезда на Белую Дачу к Хоружему для обсуждения статьи про Дхарму.



Подарил М. диск фадо — *Passion*, а Хоружему — бутылку швейцарского кирша и жестянку горчицы из Норича.



21 августа, вечер в Иерусалиме

Сидел в Доме Ури-Цви Гринберга на Яффо — какое-то русское литературное мероприятие. Послала туда Рита: «Хотите сделать выход в свет?» Свет оказался сборищем таких помятых 60-летних. Имена литераторов сплошь незнакомые; один-два вызвали смутные ассоциации не помню с чем. А набрал как дурак визитных карточек, буклетов про «Победу над солнцем»...

Паноптикум. Не то чтобы совсем уж всё бездарно, но частенько разит такой пошлостью и таким юморком. Вот разве что Эли Люксембург с хорошей притчей про то, что нехорошо всё знать — от малого убеждёшься, зато большую беду нашьют. Симпатичен. Ведут Ю. Ким и Губерман — лет пятнадцать не видел. Постарели. Губерман читал новые гарики — всё те же — мило, но...



4 сентября

Был с Лёлей на горе Скопус, заходил на отделение Восточной Азии. Общался с Бен-Ами Шиллони, который был очень мил и всё сожалел, что в своё время они меня не удержали. Посоветовал зачем-то пообщаться с Юрием Пинесом — который зав. кафедрой, китаист и коммунист. Подошёл к двери оного Пинеса — на ней красуется бумажка с надписью «Солдат, служащий на территориях, — преступник». Рядом — с именной табличкой — флаг самостийной Украины. А имя, кстати, значит и на малороссийском наречии. Вот так прохвессор... Интересно, зачем Шиллони предложил мне с ним общаться — как с земляком, говорящим по-русски? Но русский его, судя

по темпераменту и самоидентификации, скорее всего, с фрикативным «г».



15 сентября, Эйлат

Приехал вчера с Верниками на Яд-ва-шемовском автобусе. По дороге видел Забор слева. За забором — колоссальное арабское строительство, многоэтажные виллы. Рядом — чудовишно бедные бедуинские хибарки. Проезжали Кумран — там камень-указатель с надписями на английском и арабском — иврита нет. Мандатных, видать, времён, но почему-то никто не удосужился заменить или надписать на языке Страны. На остановке ел чудовищных размеров сэндвич — разрезанный вдоль багет, в который Саша велел утрамбовать несколько совков тушёных овощей. Жара анафемская.

Ходили гулять на море. пляж забит. Больше половины — русские. Они везде — на пляжах, развлечениях, в магазинах — по обе стороны прилавка. С третьей стороны залива — Таба египетская. За Акабой иорданской через 16 км — Саудовская Аравия. Ездил на коралловый пляж, взял напрокат маску с ластами, нырял. Неплохо, но почему-то впечатление было не такое сильное, как от пронизанной светом воды с сонмом рыбок и разноцветных камешков в море под Коктебелем — году этак в 77-м (или 78-м).

Читал два дня книжку Тонино Бенаквиста «Кто-то другой» (2004). Двое — на свой особый лад — изменили жизнь и себя. Один — вплоть до смены имени и пластической операции, другой — запуганный рефлексун — приохотился к водке и так раскрепостился, что просто ух. Всё стало ему удаваться. Тот, который сменил всё, отказался от женщины и т. п. В итоге стал одинок. Оказалось,

что он не просто от скучноватой любовницы избавился, но и другой не заметил — которая его посмертный культ устроила. Он ей в своём новом обличье встречаться предложил, да та не захотела. А другой так раскрепостился, что стал всех подряд крыть и завёл роман с чудной таинственной девушкой. Потом сорвался — с ней и со всеми. Получил по морде. И она его приняла обратно, окровавленного, и раны омыла. Happy end. Но счастливый ли? Никогда не знаешь, что с этой identity делать.



Увидел в Иудейском Стане (на рынке Махане Иехуда) прилавок с халвой — десятками видов халвы. Изготовитель называется מַמְלֶכֶת הַחֶלְבָבָה (мамлэкэт ха-халва) — «Царство халвы». Смешно — ибо наверняка отсылает к «Царству священников» (מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים — мамлэкэт коханим) из книги Шмот/Исход (19:6)

Прочёл это без огласовок (в коих я не силён) и получил «Мамлакат ха-халва». Мамлакат? — помилуйте! Это ж имя сталинской девочки, таджикской стахановки! Посмотрел в Википедии. Точно (она до сих пор ещё жива). По-таджикски это, оказывается, «страна». Даже стишки такие есть:

У таджиков звучны имена
Мамлакат — это значит страна.

Заодно выяснилось, что это «страна-царство-государство» (причём именно в огласовке «мамлэкэт») на азербайджанском, киргизском, крымско-татарском и чёрт знает каком ещё. Получается, что это у них из иврита? Или в Библии есть киргизское влияние?



*24 сентября, в такси по дороге
в Тель-Авив, на ДР-парти к Гробману*

Был с утра в Музее Израиля — он практически весь закрыт на ремонт, а я ходил пообщаться с восточным хранителем Ривкой Биттерман. Выходит на пенсию через год. Мила, только сказал, что Габи хочет приехать служить в армии, тут же предложила ему приходить в гости на обед в увольнительные. Вспомнили, как она приходила к нему на брит. Трогательно. Заинтересовалась моим проектом «Награбленного искусства». Сказала, что утром в музей приходили Фаня Пинес и Лидия Аран. Обеим — под девяносто. Здоровы и энергичны. Потом позвонил Лидии. Сразу вспомнила, сказала, что мы много спорили. Ещё сказала, что многие русские, с которыми она общалась после меня, помогли ей понять меня — что был некий резон в “Russian sense of superiority”. Ещё сказала, что опубликовала два года назад книгу про Тибет и пишет статьи в «Комментари». Вот молодец! — а в молодости два года провела в шкафу, где её прятала семья крестьян. Было это всё в оккупированной немцами Литве.



1 октября, Бен-Гурион

Долго проверяли вручную бутылку от Верника — ликёр Сабра. Потом, следуя его же наущенью, отправился в Duty Free посмотреть притирания для Патечки. Долго выбирал — нашёл масло для массажа — вот, думаю, вотру. Ещё бутылку Wedding wine из Каны Галилейской. Но не тут-то было — жидкости в Европу нельзя. А запечатанных прозрачных пакетов у них нет. Wedding отменяется.

24 октября, Лондон

Не раз бывало: подумаешь бог весть с какой причины о ком-то, много лет не виданном, не слышанном и не вспоминаемом, — и вот на следующий день случайно с ним сталкиваешься. Странно, но бывало не раз. Вот вчера читал перед сном сборник Веры Павловой, из коего узнал, что Михаил Поздняев был её мужем. А наутро узнал из сети, что он две недели назад умер. Описание примерно такое:

«В последние свои дни он был очень слаб и одинок. Замечательный журналист и поэт укрылся ото всех в своей съёмной квартире, перестал подходить к телефону и выходить на улицу. Он ушёл в себя, перестал общаться с окружающими. Коллеги и знакомые настояли на госпитализации, но Михаил согласился ехать в больницу с явной неохотой. Он словно уже попрощался со всеми и был не готов к возвращению в жизнь из своего одиночества. А потом ушёл насовсем».

Комментировать не буду. RIP, одним словом. Стихов его я почти не читал, да и знаком был едва-едва. До поступления в университет, совсем мальчонкой, работал я несколько месяцев подсобным рабочим в музее Пушкина (у Крейна на Кропоткинской), а Миша там пожарным служил. Года на два-три постарше и рекомендовался по этому. Поскольку ни пожарным, ни подсобным рабочим делать особенно было нечего, помню постоянные долгие разговоры о чём-то возвышенном и божественном. Главным горячим болтуном был, кажется, Серёжа Кусков, который тогда был художник (в должности подсобного рабочего же), и слова «Рабин-Зверев-Краснопевцев» вылетали из него частыми быстрыми очередями. (Давно о нём не слышал — не дай бог, тоже помер?) Поздняев это был или какой-то другой пожарный, его сменщик, который как-то читал ночью Солженицына в машино-

писи, оставил раскрытым на столе, а утром пришёл главный пожарный по фамилии Эрдели (красивый старик с лицом из бывших, но противный и, сколько помню, очень глупый) и устроил визгливый скандал. Но не заложил. По крайней мере видимых последствий я не заметил.

Потом я Мишу изредка встречал там-сям. Помню, столкнулись у памятника Пушкину в середине восьмидесятых. Он с гордостью свежую книжку стихов показывал. Я вежливо кивал, но в печатаемую поэзию своих современников не верил, не читая. Зря, наверно.



Серёжа Кусков и впрямь умер — 22 июня 2008, согласно ответу на мой запрос Лены Hades. Well, one more R.I.P. Был он весьма специфическим мальчиком, когда я его встретил. Совершенно девиантным на вид и по ухваткам. Говорил, что в кино не ходит, потому что темноты боится, а на метро не ездит, потому как под землю не любит спускаться. Через несколько месяцев мне удалось его и в кино сводить, и под землёй куда-то свозить. Оба этим гордились (я — своими педагогическими свершениями). То, что он поступил в университет — в моих глазах было чудом. То, что его закончил — чудом ещё большим. То, что развернулся через несколько лет в крупного, думающего и пишущего, начитанного критика — изумляло и восхищало. Последний раз был у него в Савельевском переулке году в 87 или 88. Зашёл за компанию с Таней Салзирн, которая брала у него интервью для какой-то нарождавшейся (не уверен — родившейся ли?) перестроечной фигни.

В январе 2008 пришёл в гости к дяде Диме, коего не видел много лет, — младшему бабушкиному (бабиному) сыну, последнему оставшемуся в живых Грекулову. Ему

70 лет, но жизнерадостен и моложав. Показывал старые фотографии и бабины документы — например, аттестат об окончании в 1916 году Златопольской женской гимназии (оценки не самые блестящие). А ещё достал её записную книжку, довоенную московскую (баба в Москве появилась между 1920 и 22). Там попадались трогательные записи — вроде колонок регулярного взвешивания после бани себя и девочек — сама 4 п. 15 ф., Валя — 33 ф. (Стало быть, 15 кило — если б я знал, в каком возрасте нетолстые девочки весят 15 кило, смог бы установить дату записи). Но почему я об этом сейчас вспомнил: на букву К самым первым значился «Кусков», а дальше шёл телефонный номер и адрес в Савельевском переулке. Спросил у Димы — ни про какого Кускова он не слышал (дело было до его рождения, очевидно, потому как когда он родился, Вале, то бишь моей матушке, было уже 13, и весила она наверняка больше 33 фунтов). Но с мужем баба тогда уже не жила. Интересно, кто же тогда был этот Кусков? Ясно, что дед Серёжи, но в каком качестве он был знаком бабе? В сущности, вполне мог быть, скажем, её дамским мастером, портным-надомником, к примеру. Любопытно, однако...

Вот тогда-то я попытался найти Кускова-внука — но не преуспел и уехал. Вот ведь как: живёт человек — и целый интернет не знает, где он живёт (как оказалось, в Краснодаре почему-то???) , а как умер — найти об этом упоминание было совсем несложно. Жаль, ей богу жаль... Теперь уже не узнать, кто был дедушка Кускова в жизни моей бабы.¹



¹ Узнал! Кусков-дед был известным в районе Остоженки–Арбата педиатром.

26 октября, 5:30, только лёг,
сна ни в одном глазу.

Иногда прорывается с жуткой эмфазой Туретт: «Бляди, суки...». Почему-то именно эти два слова. Интересно, о чём в этот момент думаю — аа, какая разница, ибо практически всё можно обозначить таковыми словами. Но извержение немедленно пресекаю. Иногда такое бывало на улице — обычно на иноязычной. А я, стало быть, на ней корчусь, безъязыкий. Всю неделю не выходил. Только вчера ходил в Курто выступать по приглашению Джона Милнера в его семинаре — «Русские художники в Париже». Он сказал, что приняли меня в Исследовательский форум — только вот забыли сообщить. Так, значит:

- 1) SOAS, Центр по изучению Японии — профессор-исследователь;
- 2) Ин-т Сэйнсбери — старший исследователь;
- 3) Ин-т Курто — член Исследовательского форума.

Солить, что ли...



Поймал как-то в интернете песню «Белла чао» — её по-русски, помню, Магомаев пел, недавно умерший. «Прощай, Лючия, уходим рано...» Старые песни любви и смерти. Сколько, кстати, там рядом есть всякого западно-коммунистического — *Bandiera rossa*, *Che Guevara*, *Dean Read* — такой красавец, но, по всему видно, негодяй. «Красный Элвис» — про «оккупированный» Иерусалим пел, с Арафатом целовался... А «Бандьера rossa» — клип с Лениным и Сталиным — более миллиона просмотрев... Почему всякой левацкой сволочи всегда так много?



28 октября, в аэропорту Цюриха

Голова болит, видать, с недосыпа — совсем не сплю и даже не ложусь ночами. Читал книжку про вхождение в нирвану Васубандху. Кто как — я а не вошёл.

Пришло вчера письмо из Курто — о принятии в Исследовательский форум. Послал им сведения о своём проекте — с копией Милнеру и Саре Уилсон. Сара немедленно откликнулась с поздравлениями и извинениями за долгое исчезновение — “I travel madly”. Ха — посмотрела бы на меня. Это просто френетически. Позвала в Лилль на защиту какой-то диссертации по русскому авангарду — она опшонирует и зовет делать то же. Едет Андрей Толстой (не очень представляю, кто это). Может, съездить? — Лилль мне люб. Потом Патечка десять писем написала. Снова любовь запольхала. Тоска.



В Берлине встретил смешливый Алекс Хоффман, куратор японской коллекции. Отвёл на виллу фрау Бекман, внучки Макса на Петер-Ленне-штрассе. Улица восхитительная (на ней снимали фильм «Кабаре». В начале — штаб-квартира масонской ложи Германии, через два дома от бекмановского — Археологический институт постройки Беренса начала 1910-х. На вилле не было хозяйки (она в Кёльне), но была некая Соня — «Я живу в Париже и снимаю фильмы. И ещё книги пишу». Вульгарная особа из хиспаников, съехала на следующий день.

Далем восхитителен, всё рядом. Был в музее группы «Мост». Рядом на Бернадот-штрассе — Штайнер-хаус «креативной» архитектуры. Объявление при входе гласит о классах эвритмики для детей. Вспомнил, как у меня в первом классе были занятия по «ритмике» — как я сей-

час понимаю, эвритмике. Какая-то смешная старая дама проводила. Имени её не помню, но что старая и именно дама, а не обычная училка — помню. К концу моего первого класса Арбат ломали, мы переехали в пролетарский район под названием Волхонка-ЗИЛ. Ни эвритмики, ни ритмики там уже не было. А рядом с антропософским логовом — веселеньким и приветливым, на заборе висит доска, сообщающая, что до 1939 года там была еврейская лесная школа (Waldschule). Учеников вывезли и уничтожили.



27 ноября, Лондон, в койке

Получил письмо от СС с пожеланиями успеха на моём «непростом пути». Да уж... Глаза с устатку слипаются, но скажу: в понедельник, после свидания с Г. Парцингером у него в штаб-квартире Фонда Прусского культурного наследия, уехал в Лейпциг, общался с Мариной, а наутро — в Дрезден, куда директор Музея фарфора просил прийти в безбожное время 9:30. Оттуда вечером (хваленый немецкий поезд опоздал на 90 минут) — в Берлин, где на следующее утро имел с доктором Буцем ланч в музейной кантине (где кухня поразительно напоминала советские столовые — не по качеству, по блюдам и обилию подливок, картошки и котлет), а оттуда бегом в аэропорт — поймал ливерпульский самолёт в последнюю минуту. Ждал автобус в Манчестер 40 минут. В Манчестер — Патечка нервная. Поужинали напоследок в Armenian Tavern и разъехались — она в Париж, а я в Берлин, с недельной остановкой в Лондоне.



Читал Аниты Брукнер *The Bay of Angels*. Как художественная проза — пожалуй, не очень: невнятно со временем и выпиской развития персонажей, но ощущение одиночества и факультативности жизни — очень точно и остро. Даже удивился, что напал на неё именно сейчас. Знал, что она недавно из Курто, где много лет профессорствовала, ушла. Случайно увидел на развале в Блумсбери. Захотелось послать П. в Париж. Туда, собственно, час лёту. Гуляю по Далему, люблю эти немецкие домики, неровные мостовые, это гелельтерство, отдающее бюргерством.



4 декабря

Глобализация... М. Бекман написала, что когда она была в Неаполе, ей звонили сказать, что мои коробки, отправленные из Манчестера в Берлин, — о чём писал ей из Лондона в Кёльн, — пришли. С русско-американско-японскими книжками и прочим барахлом.



Поставил “Tabula Rasa” Пярта в записи Кремера. Вспомнил, как впервые услышал по радио, когда ехал в Осуэго ночью — как ниоткуда тихо возникла и заворожила — осенью 2003, нет, 04 — потому что купил потом диск и привёз слушать к Пэтти уже на 72-ю улицу, в старый добрый Олкотт-хотел рядом с Дакотой. Помню, как сидел на диване и ничего не делал — слушал. Велел ей оставить дурацкие занятия и сесть тихо рядом. Так странно (т. е. опасно) было ездить эти 300 (если точно, 299) миль в один конец раз в неделю. Даже мобильного телефона не было, я и щас-то им практически не пользуюсь. И аптеч-

ки, и фонарика, и воды, и одеяла — в сущности, ничего. Только лёд да олени на дорогах. Со льдом справился, а на оленя однажды таки налетел.



19 декабря, Москва

Позвонил Габи, договорились в «Апшцу». Пришёл по замёрзшим улицам — ползала пустые, но не хотели сажать за приличный столик, только на проходе. «Убедил» всё-таки. Как они тут все похожи — тогда в ОГИ хамоватые девки... Заказал глинтвейн. Чуть согрелся. Пришёл Гаврик. Выглядел очень милостиво, волосы приличной длины. Смотрелся по-человечески и говорил по-человечески. Здоровые вещи — про Израиль и вообще. Сильно изменился. Сказал, растёт. Сказал, что мать из-за «климакса» совершенно сошла с ума и находится в больнице. Там её накачивают, и ей лучше. Завтра отпустят на день рождения, а потом снова лечиться. Так-то... А я в дурдом так и не попал, ха-ха.

За соседним столиком сидел Семен Файбисович, который сказал, когда Габи ушёл, что «папа с сыном» замечательно выглядели.



23 декабря, Берлин, ночь

Почта принесла книгу Андрея Мадисона — письма к Наташе, которая умерла в 2007. Прислала её Лена Кузьменок, дизайнер книги, которая Мадисона спасает — а он хандрит, квартиру продал, уехал в какую-то Тотьму и живёт там ничего не делая. Написал ему большую

приветственную открытку с рождественской картинкой. Книжка издана в издательстве «Красный матрос», 300 экз. Хорошая полиграфия, приличный дизайн. Много фотографий Наташи, на большинстве — не слишком выразительна. Было в начале очарование юности, а потом... но Мадисон, судя по тону писем, был неизменно влюблён и страстно-нежен.

Вообще книга оставила двойственное впечатление: с одной стороны, это настоящий памятник умершей любимой женщине. Можно позавидовать, как заботливо и любовно сделали этот альбом её памяти. А то ведь совсем бы от неё ничего не осталось. Молодцы. А с другой стороны — какой-то пшик. Яркий бунтующий хиппиарх Макабра стал бороться за выживание в провинции. Эта непонятная мне любовь к деревне — а стало быть, к комарам, грязи, водке, аборигенам. Впрочем, он обо всём этом довольно критически пишет, но всё ищет «правильную» деревню.



29 января, в поезде по Бельгии

Солнечно, холмисто, чудные деревни, туннели. Красота... Сзади вопит визгливым басом негритянский ребёнок. На Gare du Nord в Париже орды цыганок (или кто они там) — пристают. Как всё-таки эти гадят жизнь... Вот на том же вокзале практически не осталось мест для сидения, а те, что есть, лишены спинок, сделаны из металла — скользкие и покатые — ляжешь спать и свалишься. Это, чтобы бомжи не ложились, власти лишили возможности удобно сидеть пассажиров. Патечка провожала, полная любви — на несколько дней её хватило. Да и меня тоже.

Шли пешком — ибо очередная забастовка транспортных пролетариев.



Ночь на 13 февраля, Берлин

Неделю назад Джон Карпентер написал, что на мой адрес в СОАСе пришёл пакет, «вероятно, с 2–3 книгами», из России. Удивился, попросил прочесть, откуда и от кого. Джон, который больше знаком с императорской каллиграфией, нежели с кириллицей, разобрал Totma, Madison. Я удивился ещё больше, а ещё больше обрадовался и попросил немедленно переслать сюда, в Далем. Пришёл сегодня из архива, на экране письмо из Лондона: Джон переправил пакет сегодня. А рядом другое — в нём два слова: «Мадисон умер». Потом выяснил у Лены К., что он ушёл в лес, в своей занесённой Тотьме и замёрз — сознательно и добровольно, оставив записку... Ну что тут скажешь. R.I.P.

Очень подействовало... И ужасно хочется знать, что в пакете. Несколько лет не общались...



Невидимая домоправительница этой пустой виллы положила сегодня на рояль, что при входе в мою рабочую комнату, большой пакет из Лондона. В нём — другой, из Тотьмы. В нём — две книжки «Письмо будущего», большая папка с фотографиями и разнообразными материалами, которые Андрей послал, памятуя о моих профессиональных и частных интересах, плюс несколько страниц его текстов, а также письмо. Письмо датировано 20 декабря. Отправлено 22-го, на пакете стоит штамп,

согласно которому он был зарегистрирован in the SOAS post room 16 января. И вот я всё думаю: а был бы я на месте, в Лондоне, и всполошился бы сразу по прочтении письма — что было бы тогда? Звонить-писать общим знакомым, чтоб они около него дежурили и за руки держали? Естественно, снёсся бы с Леной К., но вот вышло б из того что-нибудь? Не знаю. Может, только ненужного надрыва прибавило б...

Но сознание того, что Андрей не делал того, что он сделал, ещё пять недель после посылки мне письма, да ещё две недели после того, как оно добралось до места назначения, да только меня не застало, надсадно реверберирует в мозгу. Мы не были близкими друзьями — между встречами, бывало, годы зияли. Но какая-то настроенность на друг друга, несомненно, была. Я часто поминал его, а он, судя по письмам и отзывам общих знакомых, — меня. А когда встречались, сразу наступало просто, тепло, серьёзно (а внешне часто дурашливо) и загадочно... Вот, пожалуй, перепишу его письмо:

*Мы с Тamarой ходим парой.
Мы с Тamarой — Утамаро!*

*(экспромт) [приписано в верхнем правом углу
в виде этиграфа от руки]*

Не могу, Женя, собраться со словами, чтоб передать ту радость, какую испытал сразу, ещё не читая, но едва лишь вытащив из почтового ящика конверт с твоим письмом. Предположим: бурягонь! самошквал!! имплицитрус!!! запорг (как западный ответ на «восторг»), наконец!!!!

От куррикулума же твоего, когда всмотрелся в текст, глаза мои и вовсе округлились. Это не иначе как в духе чего-то вроде: «Ученик приплёлся к мастеру Бонсаю и опять с вопросом: «Учитель, в чём природа культу-

ры?» — «Кру-гом, шагом арш!», — рывкнул в ответ Бонсай, и...» — подразумеваемое «просветление» понимаю здесь как всеобъемлющее свет в смысле мира, который, в свою очередь, есть пространство.

Однако, с учетом европейских масштабов, вполне сопоставимых с вологодскими, моя одинокая маета, получается, не шибко отличается от твоей: то Великий Устюг, то Кологрив и Шаблово (места Ефима Честнякова), то Кириллов и Белозерск, а то и Череповец с Устюжной. Впрочем, по порядку, точкой отсчёта для которого возьму нашу с тобой последнюю встречу.

Помнится, тогда я демонстрировал тебе тетради и папки с рукописями и машинописями Алексева. Так вот, мне-таки привелось сварганить из них (на пары с Мартыновым, Меньшиковым, ныне покойным, и Алимовым) недурной, на мой взгляд, двухтомник, который культвласти признали лучшей переводной книгой года и дали за это соответствующий приз (не мне, естественно, — издательству). Прилагаю, на память, текст своего выступления на презентации оно-го — сам двухтомник давно уже подарил. Кроме того, состряпал я (на сей раз в сотрудничестве с Рифтиным) издание-обновление магистерского диссера Алексева о Сыкун Ту и ещё — ещё раз — complete Пу Сун-лина, также его перепав. Что дало в итоге, как смело полагаю, сумму алексеевской филологии и литературы в её главных образцах. И тем самым твоя (если помнишь) «вязанка хвороста в костёр восточного энтузиазма», думаю, не прогорела зря! [Не помню, увы, — наверно, написал это на какой-нибудь своей книжке, которую Андрею поднёс. — ЕШ].

Именно на это время пришлась главная трагедия моей жизни — болезнь и смерть Наташи. Которой сопутствовал ещё ряд обстоятельств, едва не вышибивших меня из рядов. Опуская их, скажу, что решение

оставить Москву было мгновенным. Как мгновенным и выбор: Тотьма. Самый лучший инсайт — подготовленный, а я не зря всё-таки «проездили» по России. И давно осознал Вологодчину как место окончательного для себя приложения. Цвета и формы природы. Людской колорит (натуральный, а не plastic people). Твои опасения («да аборигенов побаиваюсь») абсолютно напрасны. Никогда здесь не видел и тени фобии в свой, «чужака», адрес (наоборот — это пожалуйста), никогда (и безотносительно себя) — бытового хамства, даже опасных пьяных эксцентриков — никогда. «Не знаете вы России...»

С местным населением контактов почти нет (кроме чистой прагмы), исключения — при набегах на музеи окрестных городов (там бывали волшебные моменты). Нередко, однако, навещаем. Была, например, дева, биолог-кандидат, стажировавшаяся ныне в Монпелье (возил её в Феррапонтово, постоял ещё раз перед Дионисием, только теперь обратил внимание на то, какой у него не страшный, не пугающий ад — в отличие, скажем, от Мемлинга; полагаю поэтому, что не случайно жанр «страшилок-ужастиков» — какие гаденькие словечки! — родился именно на Западе. Генетика). Бывала ещё одна, совсем юная дева, микробиолог-аспирант, последний раз — чтобы попрощаться перед отбытием в Антарктиду, для научработы. В общем, преимущественно творческая молодёжь. Которая, полагаю, сможет переломить устоявшуюся уже до изжоги доминанту человеческой («звёзды») мелкотравчатости. Это в эпоху-то, ха-ха, глобализма!

В последние пару месяцев обратился к мемориям, назвав их «анекдотами». Потом бросил это занятие, как всё-таки чуждое своей самости-яйности, но несколько фрагментов всё-таки исполнил. Прилагаю один, самый неназойливый, — снова на память.

Всё это, впрочем, не главное. Главным для меня после смерти Наташи стало то, что явилось мне в голову в последние дни перед её смертью. Издание книги, ей посвящённой. Давалась и делалась она трудно. И потому ушёл на неё год, в который я беспрестанно ездил в Питер (где она делалась и сделалась наконец). По счастью, у меня осталось два её экземпляра. Посылаю их тебе (другой, как мне видится, тому хиппующему китайцу, свиток работы которого ты мне так изрядно презентовал: вот он, передо мной).

На странице 27 книги — расшифровка её названия. Там же — определение моей судьбы, которое бы давно бы уже свершилось, если бы не задержка из-за книги. Теперь не мешает ничто. Ты, как профессиональный японист, обязан понять меня без ханжества и не предполагать во мне истерики. Но исключительно в рабочем порядке. В конце книги имеется конверт (симулякр бывшего в реальности со вложенной в него иглой. Если сразу необразишь, подсказываю цепочку: Кощей, яйцо, в яйце игла, в игле — жизнь. То есть ещё одна скрепа телеги.

Прощай! Знакомство с тобою было из лучших, светлейших моментов моей жизни.

Абсолютно серьезно.

Андрей Мадисон. 20.12, Тотьма

Одно скажу: Он был рад поговорить — доложить, похвастаться, порассуждать... Он не хотел заканчивать — медлил, и это очевидно. Закончил он лишь в самом конце страницы — понятно, решил не начинать новую. Такой интерес к рассказу о том где был, что делал, воспоминания о «волшебных моментах» в музеях, показывает, что депрессия была не абсолютна. Андрей был рад от неё отвлечься — сводить в местный музей заезжую барышню,

похвастаться мне о хорошо сделанной работе... Может, всё могло повернуться и иначе...



Татьяна Алексеевна Седова, моя начальница в Отделе репродукций ГМИИ, известная как Тата Седова, но не для меня, двадцатилетнего (а ей тогда было 46—47), рассказывала как-то за чаем, как ездили они, молодые искусствоведы, где-то в шестидесятых, в Тарусу, а там по улице шла поддатая баба, а за ней увивался пьяненький мужичонка, который бабу уламывал, а та не обращала внимания, покуда тот её не достал, и баба крикнула: «Да отъебись ты от меня, мне Ванька нужен». И, заливаясь слезами, пошла прочь. Столичные искусствоведки залились слезами тоже. «А ведь Ванька её, может, уж двадцать лет, как в земле гнил», — заключила рассказчица.

Что-то я снова вспомнил эту историю... Всех жалко — и Ваньку, и бабу, и мужичонку, может, вполне справно и рукодельного, и Тату, давно уж покойницу, да и себя заодно...



Во Внуково чуть не половина пассажиров — «лица кавказской национальности». Многие с малыми детьми. В автобусе, который должен был везти от здания аэропорта к самолёту (и долго стоял) на возвышении для багажа разместились мальчик, который прыгал, орал, веселился, хватался за всё подряд. Перед ним стояла тётка, то ли мать, то ли бабушка — без возраста и миловидности и монотонно говорила каждую минуту: «Нельзя, нельзя». Пару раз (автобус стоял минут 15) звонила кому-то и говорила по-русски с заметным акцентом. Ее холерический ребёнок, раздухарившись, ударил ногой женщину впереди;

тётка дёрнула его к себе, он стукнулся головой о штангу и завыл пронзительно, молотя её кулаками по лицу и вопя: «Дай-дай-дай» (или нечто вроде). Видно, он ещё не говорил вообще — годика ему, наверно, уже три-четыре.

Это какое-то новое, неизвестное мне, население России. В самолёте во Владикавказ их было больше половины. Зачем они в европейской стране? Или это уже не европейская страна? При этом все объявления в самолёте дублировались по-английски.



20 февраля

Он Цицерона на перине читает, отходя ко сну — так и я читаю перед сном Марка Аврелия, «К самому себе». На бекмановской тяжеловесной немецкой перине с монограммой МВ.

Раскрылось на: «X-15. Невелико уже то, что осталось. Живи будто на горе, потому что всё едино — там ли, здесь ли, раз уж повсюду город-мир. Пусть увидят, узнают люди, что такое истинный человек, живущий по природе. А не терпят, пусть убьют — всё лучше, чем так жить». (пер. А. К. Гаврилова)

Перевод лучше, чем старый английский: «Short is the little which remains to thee of life. Live as on a mountain. For it makes no difference whether a man lives there or here, if he lives everywhere in the world as in a state (political community). Let men see, let them know a real man who lives according to nature. If they cannot endure him, let them kill him. For that is better than to live thus as men do». (transl. by George Long)

В латинском так: «Parvum est, quod reliquum est. Vive ut in monte. Nihil enim refert, hic an illic, modo ubique, tanquam in urbe, sic in mundo. Videant, contemplantur

homines hominem verum naturae convenienter viventem. Si eum nos ferunt, occidunt nam id satius, quam sic vivere».

«Parvum est» — это больше, чем про длину жизни.



21 февраля

Подумал вчера: написать рассказ о прохождении женщины, как М., пунктиром, через жизнь. Даже слова и сцены засияли в мозгу — да заснул. А могло бы интересно получиться — прощанье с идеей — в смысле, что нельзя переводить в другую плоскость, то есть в реальность и что-то пытаться.

Ещё томлюсь без Патечки.



3:10 ночи на пнд

«Томлюсь без Патечки!» Снова скандал. Ходил на встречу с Володей Сорокиным, потом вечеринка (неприятно изумило, что он настоял, чтобы поехать в русский магазин и купить там водки с пельменями, которые самолично варил, предварительно нацепив малиновую косоворотку с подпояской. То ли Горький, то ли Леонид Андреев. Зачем ему это — и так хорош собой. И писатель сильный). И вот приезжаю в ночи на такси в Далем (увязался пьяный немец, который почему-то решил, что я хочу с ним спать), а там встречает графиня Изабелла и говорит, что Патриция звонила, очень нервничала. Перезвонил. Услышав, что я ходил на литературные посиделки с пельменями, впала в ажитацию и сказала, что это я нарочно, чтобы ей было одиноко в поезде из Лондона в Париж ехать. Именно так.

Ещё сказала, что звонила вчера сказать, что решила выйти за меня замуж, а теперь передумала. Бывает.



Утром, 30 марта, звонок от С. Верника: ночью «умер Мишка Генделев». RIP. Господи — всё чаще эти объявления. Однопольчане и друзья вновь извещают с сожалением...

Маевский, Мадисон, Альчук...

Недалекий исход был более ожидаем, чем для многих, неболящих, но всё-таки, это поражает и заставляет взрогнуть и невольно остановить на время свою каждодневную суету.

Мы не были близкими друзьями, да, пожалуй, не были друзьями вообще. Случилось так, что я вселился в его квартиру на Бен-Хиллель ещё до того, как с ним познакомился. На второй день по приезде в Иерусалим знакомые устроили вписку в его мансарду — он уезжал на три месяца в Москву. Мы встретились, обо всём договорились, Миша получил деньги и устроил щедрую отвалную. На следующий день выяснилось, что советские власти (СССР оставалось жить ещё больше года) не дали ему визу. Он остался в Иерусалиме, но договор (разумеется, устный) ломать не стал и пошёл жить к подругам, о чём, вероятно, нимало не тужил. А я с женой, бывшей на восьмом месяце, на время поисков чего-то более стабильного обосновался в его баснословном месте внутри пешеходного Треугольника, образованного улицами Кинг-Джорж, Бен-Йехуда и Яффо. Пару раз он присылал за какой-то надобностью Дёму Кудрявцева или Катю Капович, а потом мы встретились в каком-то литературном сборище, и я предложил ему заходить в любое время по надобности или без оной. Что Миша и стал время от времени проделывать. Помню, как в начале Войны в Заливе Генделев появился в военной форме, лад-

ный и оживлённый, и стал с аурой бывалого вояки рассказывать нам, новеньким, что за пару недель с врагами будет покончено, и вот тогда вы, ребятки, заживёте. Эта роль ему шла, лёгкое бахвальство было ему органично. В процессе чаепития и военных рассказов Миша достал из кармана личную печать и всё вертел её в руках. Под конец, не удержавшись, он оттиснул её прямо на белом крашеном столе. «Военврач Генделев № такой-то...» значилось на ней. Было ему сорок лет.

Тогда же он прозвал меня ПиЭйчДи; кликуха пристала на несколько лет.

То было время необычайного оживления русской литературной жизни в Израиле — чтения, публикации, симпозиумы и просто литературные посиделки и выпивки шли густым потоком, как не случалось ранее и как сошло на нет потом. Миша был в центре всех событий и мероприятий. Много он инициировал сам. Так он стал президентом Иерусалимского литературного клуба, собиравшегося сначала у выходцев из Советского Союза на Штрауса, а потом, несколько сезонов, в Мишкенот Шеананим — Приюте Беззаботных, под мельницей Монтефиори.

Потом я на много лет потерял Генделева из вида — уехал в Японию, перетёк в Америку... Слышал, что он уехал в Москву, где стал знатным политологом, и только дивился таким коловращениям. Время от времени читал о нём и его стихи в интернете, узнавал новости — в том числе и о нездоровье — от общих друзей. Минувшей осенью, быв в Москве, я позвонил Мише. «Не позавтракаете ли со мной завтра?» — немедленно предложил он. За пятнадцать лет он изменился очень сильно — болезнь сказала на внешнем облике немилосердно. Но, возможно, она же, а точнее, ощущение хрупкости жизни и балансирования на грани, сказалось и на душевном состоянии. Я помнил Генделева по Иерусалиму иро-

ничным, резким, едким, иногда несколько комичным в прорывавшемся бахвальстве (на многое он имел заслуженное основание). Сейчас (в ноябре 2008) он был просто улыбочив и жизнерадостен. Словно открыл нечто. Усадил меня за роскошный стол с пятью перемелами — всё приготовил сам, уговаривал откусать всех своих наливок и настоек (откусал изрядно и едва сумел остановиться). И сразу стал задавать вопросы о жизни. Я ещё когда к нему шёл, думал, как бы свести к минимуму всю событийную фигню, случившуюся за пятнадцать лет — начнёшь рассказывать, не остановишься — а толку-то? А оказалось, с Мишей легко и просто. И Серьёзно. Именно так, как надо (мне, по крайней мере, давно надо было) — встретились два старых знакомых, уж не шибко молоденькие, жизнь помотала, книжки повыходили, жёны поразбежались, а новые выросли, вроде, чего-то удалось (по крайней мере, внешне), ну и как оно, ощущение? Миша задавал правильные (немногочисленные) вопросы, понимал и подхватывал мои ответы, и отвечал сам — отвечал, что он счастливый человек и всю улыбался страшноватой перекошенной от болезни физиономией. И выглядел при этом симпатично. И было видно — не врёт и не позу стоическую держит, а взаправду живёт со вкусом, на всю катушку проживая отпущенное. Было сначала от такого зазора слегка жутковато, а потом стало даже катарсично и немножко завидно — вот ведь шельма, жизнь его прямо по корпусу, а он не просто достойно, как джентльмен, держится, но ещё и радуется.

Я ушёл тогда от Миши с ощущением, что повидал человека, который знал, как и зачем жить. И, вероятно, знал, что срок уже отмерен. Но я никак не мог подумать, что это срок окажется таким чудовищно коротким...



3 апреля, в самолёте Берлин-Москва

Написал вот прошлый раз «Маевский, Мадисон, Альчук» — и увидел в аэропорту Мишу Рыклина. В смешном куцем шарфике сидел за чашкой кофе и читал немецкую газету. В начале разговора сказал, что это самый важный немецкий журнал с тиражом 22 тысячи, и он каждый номер туда пишет. Сильно хвастался: хорошая работа, получает очень хорошо. Был год Меркаторским профессором, сейчас на год — научный работник, на следующий что-то в Гамбурге наклеивается. Н-да-с... Вид на жительство по советскому паспорту. Активно рассказывал про ужасную обстановку в России, нефтедоллары, спецслужбы, гламуризацию общества, все под колпаком. Суд над Аней, который её довёл. Православные орали прямо в суде антисемитские лозунги, угрожали... Очень беспокоило и охотно всё это выкладывал. Неужто я тоже в своё время с налёту всем подряд заводил с деталями про Ю., про российские гадости, мадам Антонову... Ужас какой. Нет, вроде, нет.



9 апреля, Ленинград

Был в Эрмитаже, говорил с Пиотровским и всякими его тётками. Разница между ними в том, что одни говорили гадости вежливо, а другие — откровенно по-хамски.



The senile-mental drooling of Prof. Aschenbach on his voyage in the Orient: "It cannot leave my mind, that child-like (yet strangely worn out) little face of T. and her small

ideally spherical and densely set boobs”. From there he proceeded to Venice.



My lips turned dark cherry. But it's not because of kisses. It's wine. A bout of solitary drinking in a half empty-cellar in a strange land. A party of three Russians entered and occupied a table nearby. They argued on how to get to a certain local place. I knew that but kept silent. I do not want to talk to people. Or, perhaps, I do, but don't know about what.



16 апреля, Париж

14-го позвонила в Берлин Ч. — поздравить с днём рождения и попросить денег. Сказал, после переговоров, уезжаю через 10 минут в Париж — и уехал. На рю дю Драгон прибыл незадолго до полуночи — окна у Патечки тёмные, телефон не отвечает. Вошёл в подъезд — там тьма кромешная. Ощупью вскарабкался на третий этаж (всегда воображаю, когда хожу по этой лестнице вверх-вниз, как по ней покойников стаскивают — стоймя разве что). Стучу в дверь — никакого результата. Посветил слабым отблеском телефона под дверь — там куча писем, углядел её имя. Что за сюр. Посидел какое-то время, соображая что к чему, но встал, чтобы пойти прочь. В этот момент звонок — Патечка дрожащим голосом спрашивает, зачем звонил. «Пэтти, ты где — в Америке? Поздравляю тебя со своим днём рождения!» — «А ты где?» — «А я у тебя под дверью». — «Нет, тебя тут нет». — «Как нет? Открой дверку, что с тобой, ты больна, у тебя куча писем под дверью!» — «Нет у меня горы пи-

сем». — «Тогда открывай!». И слышу — дверь открывается этажом ниже. Немая сцена. Я сбегая с шампанским наперевес, чуть не слетая с крутых ступенек в кромешной тьме. Оказалось, в подъезде какая-то авария с проводами уже второй день, письма ей на неправильный этаж положила новая консьержка, а звонки мои не слышала, ибо была в ванной. Харру энд и всяческая милота в Париже...



11 мая, в аэропорту Брэдли, Хартфорд

Был в Амхерсте — позвали на переговоры по поводу коллекции русского авангарда — описывать Малевича, Родченко и Филонова. Коллекция понравилась — не эта троица, конечно, (хотя ранний Родченко был хорош), а много чего ещё. А университетские тётки — не особенно.

В Нью-Йорке встречался с венецианкой Марией — по-прежнему очень славная и красавица. Было бы здорово с ней общаться почаще. Смешно звучит, но её абстракции нравятся мне больше, чем Малевича.



16 июня, ночь, Берлин

Холодно, дождь. В квартире ещё холоднее, чем на улице. Нашёл в Mitte квартиру-студию за €300; хозяйка, фрау Клебе, живёт этажом выше и преподаёт турецкую музыку в университете искусств. Надеюсь, не будет брэнчать на потолке своим удом и донимать всякими касыдами и макамами.

Augustusstrasse, еврейские места. Кругом полуразрушенные еврейский детский дом, общинный центр, остатки кладбища и сотни маленьких медных табличек с именами уничтоженных в Холокост местных жителей. Таблички отполированы до блеска — ногами прохожих, ибо вделаны в тротуары. Почему в тротуары, я спрашивал разных людей. Кто-то говорил, что в стены домов, откуда их забирали нацисты, нельзя, ибо нынешние владельцы не хотят. Не особенно верю — не может быть, чтоб никто не захотел — ну хоть один-то из десяти мог бы расщедриться! Другие говорили, что, дескать, прямо под ногами — лучше видно. Не знаю, не знаю. Мне почему-то кажется, что топтать имена замученных властью людей — нехорошо. Зато нынешняя власть усиленно — до противного — охраняет (или псевдо-охраняет) завезённых советских евреев взамен своих, уничтоженных. Тоже, конечно, евреи, но какие-то не такие, уж я-то знаю. Но так или иначе, в Большую синагогу, что на соседней улице, на Ораниенбаум-тор, зайти непросто — три ряда охранников, задающих idiotские вопросы, глядя на мою кипу, которую я как дурак нацепил перед входом.

Зато сейчас вокруг полно модных известных галерей, в том числе две в моём доме, а через дорогу — Филипс де Пюри, а ещё художественных сквотов, быстро вытесняемых истэблшментом.

Патечка дозрела до путешествий. С миллионом оговорок и условий хочет ехать в Прованс кататься на велосипеде в начале июля. Хочу ли я? Сначала — детски-импульсивное «да», через секунду — разумно-зрелое «нет», через долгие душевные бурядания — неуверенное и почти стыдливое «хочу».



29 июня в самолёте Москва-Берлин

Прилетел на пять дней.

Был по приглашению Оли Ш. на меропрятии Кинофорума в Киноцентре. Ходил с Олей Д. — крупная всё-таки женщина! Смотрели «Семь мудрецов в бамбуковой роще» Ян Фудуна. История в современных декорациях — любопытно. Потом перетекли в клуб «Бархат», где на лестнице стояла гламурная вохра, и я оробел. Они же вежливо спросили мою фамилию, и, вероятно, услышав какие-то иностранные нотки, спросили, не профессор ли я из Лондона, который друг Разлогова — после чего снабдили светящимся браслетом и препроводили на второй этаж, где нас с Олей в полутьме ожидал большой поднос жратвы с плохим сладким вином. Потом за столик подсел Разлогов с крупной дамой — директором всего фестиваля, как я узнал впоследствии.

На закрытии Медиа-форума был интересный перформанс — японец Кёити Курокава играл на компьютере, и на трёх экранах менялись картины — некое абстрактное струение: чёрно-белая графика, вязь сплетенных линий. Неплохо. И музыка забойная — громкая и низкая, реверберировало внутри. Опять, в который раз, подумал: вот ведь младое поколение (ему лет 30) — оснащены электронной техникой — и ваяют. Была в той же программе американка Ив Суссман — оживляла на компьютере картины («Менины» и что-то ещё). Как было сказано в аннотации, «прославилась этим». А я ещё году в 85-м, кажется, выступил в нашем анимационном семинаре при Доме кино с идеей оживить «Руанские соборы» Моне — запрограммировать все три десятка (или сколько их там) и посмотреть, получится ли плавное и осмысленное (сообразно ходу солнца) действие. Наверно, сейчас это можно было бы сделать элементарно. Но никто не сделал — может, лет через пять...



Написал Call for papers для своего «Ориентализма». Отдал Патечке, артикли проверить. Такого наисправляла — “eternal” на “external” — ох, беда... 9-го едем на поезде в Авиньон, оттуда — в Сен-Реми, там берём велосипеды и катаемся по округе (непрерывно в Ле Бо и Тараскон), потом в Экс, потом ей непременно нужно сделать передых на пляже в Касси, а я оттуда хочу съездить в Йер и посмотреть, впрямь ли он такой уж богомерзкий, как всё-таки выглядит тамошняя fosse commune.



15 июля, Касси, сиеста

Путешествуем по Провансу. Вылетел из Берлина 7-го — быв выдрочен в Шёнефельде охранкой из-за невложения дезодоранта (твёрдого!) в прозрачный пакет им для предъявления и обнюхивания.

В Авиньоне по выходе из вокзала здоровенный негр в лыжном костюме и лыжной же шапке (35 Цельсия в тени) облил, подкравшись сзади, мой чемодан розовым йогуртом (или блевотиной — но не пахло) и, радостно скалясь и бормоча, убежал вприпрыжку. Стоически вытер платком как мог. (Милый японский платочек пришлось выбросить). Очередь вокруг светски щебетала и отворачивалась в сторону. Авиньон кишит туристами и арабами. Фестиваль театров — улицы полны фриков. Постоял на мосту и спел песенку — “Mon papa, ne veut pas, que je danse, que je danse. Mon papa, ne veut pas, que je danse la polka”. Надо бы было, конечно, “Sur le pont d’Avignon // l’on y danse, l’on y danse // Sur le pont d’Avignon // l’on y danse tous en rond”, но сразу не вспомнил. Патечка всё равно впечатлилась.

В Сен-Реми стояли за кольцом бульваров в пансионе «Под фигами». Из-за развесистых фигов в комнате было темно. Ездили на вело в Сен-Поль де Мосуль — в вангогову лечебницу. Ехать было километра два. Патечка нервничала и покупала воду. В дальнейшем установился цикл непрерывного производства: купить воды, потом искать туалет, потом искать, где поесть, потом купить воды...

Душевная лечебница в старом монастыре — чудный пейзаж и чудовищное устройство. Мне показалось, что там и здоровый должен был свихнуться. Из комнаты Ван Гога вид на поле подсолнухов; на окне — решётка. В ванной комнате — на несколько ванн — деревянные крышки, которые ставили на борта, покрывая ими сидящего внутри больного, оставляя лишь голову снаружи в специально выпиленной дырке. Кстати, сажали их в холодную воду. По соседству — милый римский городок Гланум, хорошо сохранившийся. Очень маленький, но с рынком, храмами, бассейнами, термами. Удивительный народ эти римляне — куда ни придут в своих скрипящих сандалиях — сразу строят театры и бани. (Кстати, пусть поэт не врёт: в нашу жизнь римский водопровод вошёл весьма относительно — а поживши в Японии да Америке, я заметил, что соотечественники поэта мытьё вообще не шибко освоили).

По дороге в городе миновали виллу «Гланум», где жила Дина Рубина, описавшая эти места в «Холодном лете в Провансе» (так себе — книжицу эту я оставил в гостинице пансиона «Под фигами»). Заехали на старое еврейское кладбище XV века. Оно было закрыто, но свастикки на воротах (о которых писала Дина), отсутствовали.

На следующий день — в Тараскон, около 20 км. Трогательная облезлая старина — всё попроще и понатуральней, чем в Сен-Реми. Узкие улочки с окнами, на-

глухо закрытыми ставнями. Музей Гартарена занимает одну комнатку в аббатстве кордильеров. Замок Доброго короля Рене, последнего провансальского (Анжуйского) — огромен и впечатляющ. Забавные уличные таблички: синие — с новыми названиями, а ниже белые — со старыми. На новой написано: rue du Proletariat, а на старой — rue du Temple. На новой — Rue du Chateau, на старой — rue Droite des Juifs. Интересно, что там исчезло раньше: евреи или их права? Боюсь, я знаю ответ.

В Касси, ввиду наличия пляжа, дни проходят в жаре и тупости; топлесс барышни — весьма умеренной привлекательности. Но буайбес хорош.



22 июля, Экс

В Эксе торжествующий национализм в уличных табличках выглядел ещё занятнее: на синей надпись rue Rifle-Raffle, а рядом по-провансальски — Riflo-Raflo. Приехали на автобусе через сонный городок Обань, улицы коего изукрашены досками с именами расстрелянных в войну евреев. Стоим по соседству с Музеем Гранэ, где огромная выставка «Сезанн-Пикассо» с колоссальной очередью. Прошёл по своей АИСА-карточке без очереди и бесплатно, и Патечку провёл, выдав её за музу и взяв обещание, что будет вести себя хорошо. В музее крепилась, а по выходе не сдержалась и рассказала мне, какой я гадкий и нехороший. Театрально повернулись друг к другу задомы на Cour Mirabeau, воспетом Золя и биографами Сезанна, но пройдясь немного в разные стороны, одновременно повернулись обратно, и, сойдясь напротив кафе Двух Парниш (Café de Deux Garçons), облобызались, прослезились и пошли есть салат мирабо из морских гадов. Кстати,

в городе везде следы Сезанна, но очень мало упоминаний Золя и Мирабо. А про Андрея Волконского, недавно тут умершего, наверно, вообще никто не знает. Интересно, каково ему было тут умирать. Думаю, всё-таки полечче, нежели Георгию Иванову в Йере.

Чудный музей Поля Арбо — в старом, не изменившемся со времен детства Сезанна, доме.



*27 июля, Берлин, с трубкой на лавочке
на скверике Нелли Зак*

Летел из Парижа — на этот раз неграм-охранникам показалась подозрительной керамическая бутылочка для масла с металлическим носиком из Прованса. Перерыли чёрными своими лапами без перчаток весь чемодан и оставили мне укладывать. Посадочный талон проверяли четыре раза — последний раз уже в самом самолёте. Долго его изучавшая престарелая стюардесса махнула рукой и велела идти в конец полупустого самолёта. Я заявил, что хочу сидеть во втором (пустом) ряду и сел. Интересно, связан ли такой сервис с ценами этого Easy-Jet?

Ночью читал «Искренне ваш Шурик» Улицкой — бедный такой тютя-заебашка. Мягкий, безотказный — всех девушек и тётушек обслуживал, но никого не любил. Услужлив до невероятия. Очень много физиологических женских описаний — автор-мужчина так бы не написал. А ещё подумал, что, в отличие от Шурика, я намного дольше сохранял сексуальную наивность — и далеко не всегда представлял, чего они хотят. Даже в 50 лет — с Мэри МакФадден.



1 августа, Берлин, на скверике Нелли Закс

Памятник — бронзовый стол со стулом, и рядом ещё один опрокинутый. Всё подмывает сесть за него и начать писать — посмотреть, каково это, вот так на улице, на проходе.

От Гаврика в Голландии ни слуху, ни духу. Не сообщил о получении €300, но записал меня в «друзья» в Фейсбуке — там на его странице сплошное курево. И масса записочек от девок: “I need your numbaaaaa”. Молодец.

Начал статью про гравюры из китаевской коллекции для *Impressions*. Но вообще ничего не хочу писать. И говорить. И думать. Вот прочёл название романа у М. Аддано-ва: «Живи как хочешь» и подумал: а я как хочу? А никак. То же ничто. Ничто всё более всеобъемлющее. Помню, как-то завёлся было, думал об этом рассказ написать, в «Зеркало» отдать — о смерти и общей факультативности жизни.

Читаю (в клозете) рассуждения Бориса Биргера («Сам себе Биргер» — купил из симпатии к записавшему биргеровские рассуждению Борису Шумяцкому). Поразила история про то, как Эммануэль де Витте, 75 лет, повесился на мосту — ибо больше негде было. Г-ди, что же это за бездомность такая, что даже самоубиться негде, кроме как на проходе... И в 75 лет! А по картинкам — такой трезвый, спокойный, засушенный. Надо бы проверить — не врёт ли Биргер.

Сам он так красиво рассуждает, авангард кроет, советских поливает, к старым мастерам апеллирует — Рембрандт-де, Тициан — мои учителя... И что же в итоге: его независимость и особость — не совок, не левый МОСХ, не авангард — оказались всего лишь фрондирующим буржуазным салоном. Портреты «творческой интеллигенции» (точнее, творчески-устроенной) — все давно практически забыты. Развалился совок, заросла бу-

рьяном забвения и его интеллигентская обочина. Грустно — и живописец был мастеровитый, да и герои его — не из худших...



3 ночи на 13 (?) августа, Берлин

Купил билет в Лондон. Потом подумал — и на Юростар в Париж, к Патечке. Потом проголодался, потом читал «Дневник Анны Франк».

Ещё читал повесть Кристиана Крахта (Kraecht), написанную в 1995 — вылетело название, о золотой молодёжи. Страдающий герой едет с севера на юг Германии и дальше в Цюрих, где, вероятно, кончает самоубийством. При этом он пьёт как лошадь, курит как паровоз, блюёт, срёт в штаны и постель (особенно, когда надо трахаться, он уходит блевать) — в общем, полный закомплексованный лузер мерзейшего типа, который всё время переживает, что приятели или девушки его не замечают, говорят в компаниях не с ним и т. п. И постоянно всех, особенно старших, задирает. И отовсюду (со всех тусовок) сбегает. И ещё рссуждает исключительно про то, что на нём или ком-то ещё надето — какой фирмы, включая машины и зажигалки. Пустейшая мразь какая-то. Это что, новые странствия Вильгельма Майстера и страдания молодого Вертера? Или это поколение испражняющихся истероидов, вроде Бренера?



Ночь на 15 августа

После обеда (в 8) лег почитать с устатку — почему-то Олешу, «Зависть». Давно собирался — смущался как-то,

что замечательной раннесоветской литературы не читал — все эти Катаев (впрочем, «Белеет парус одинокий» читал в первом классе), Багрицкий, Олеша, Одесса, газета «Гудок»... И вот, в сортире сидя, читал монологи Биргера — как они с Кавериним в Переделкине встретились, и старик говорит о выдающихся мастерах слова — Олеша, Вс. Иванов, кто-то ещё — что-де сразу может определить, кто из литераторов их не читал. (Кстати, не глупо ли — зачем литератору на всех и каждого реагировать в своём письме?) А «Зависть»-де — один из главных романов советской словесности и вообще русской литературы. Кавалеров, Бабичев — нарицательные стали имена. Трагедия лишнего человека и т. п. Опять у меня чувство, что я тупой или наивный (и/или злобный). Но — не то, не то. Лихорадочный слог, внутренние монологи жалкого человека, бред, фантазмагория. Яркие метафоры и образы, но очень лобовое психологическое описание. И этот бедный не врастающий в советскую систему «интеллигент» — жалок и гадок. В общем, не проняло. Но почему? Похоже, что из всех, кого могу вспомнить из читанных в последнее время, — это William Boyd, Nicole Krauss (*History of Love*), кто ещё — Erica Jong, *Of Blessed Memory* (ну это средне, хоть душещипательно), Anita Brookner (несколько). А из прочитанных в последний месяц по-русски — ничто.



21 августа

Как всегда часами собирался засесть за работу. Проснулся в подвенадцатого (видел удивительный сон), потом завтрак и дурацкие новости, потом не помню что, потом вышел погулять, потом вешал на сайт РИКа свои новые работы, обедал... Около девяти покушался

лечь на полчаса, потом решил, нет — лучше через час совсем залягу, а завтра начну со свежими силами — короче, как алкаш, который даёт зарюки, а справиться не может. И вот незаметно-незаметно взял и стал писать — около десяти вечера — и так втянулся, так хорошо пошло! Часов до двух не прерываясь, а потом стал читать письма Китаева, во втором томе каталога ГМИИ напечатанные, — то, что они без моей помощи сделали и даже корректуру мне этой части не прислали. Увидел многочисленные ошибки (не умели дореволюционный почерк разобрать) и дурацкие комментарии («артист» — это калька иностранного «художник» — там, где речь шла о «мастере», коих в XIX в. называли «артистами»). Главное, в том месте, где Китаев говорит о том, что у него есть первое издание «Манга» Хокусая, в публикации без всяких оговорок убран этот кусок (явно после того, как я им сказал, что это не первое издание) и, чтоб края оборванные соединить, текст слегка изменили. Каково! (А перед публикацией во врезке говорится — наверно, сама Беата, а может, этот новый кремлёвский кадр — что сокращения всегда обозначены и объяснены. Смешно. Т. е. противно. Кажется, я их поймал на альсификации архивного документа. Зачем они так? — Чтобы скрыть пропажу?)

А в том странном сне было, что моя статья вышла в книжке, напечатанной в UCLA, под перевёрнутой фамилией — вроде Stiner — т. е. никто меня не мог идентифицировать.



17 сентября, в поезде Лондон-Париж

Встречался вчера с Габи, ходили с ним в Курто (мне нужно было новую карточку получить), потом в СОАС — не-

брежно продемонстрировал ему табличку с моим профессорским именем на двери. Меж тем прорезался Ясик — просит добыть ему книжку Каспита «Конец искусства». Надо будет вернуть Доналду, что мой старшенький — большой его поклонник.

Был в Нориче на конференции специалистов по японским источникам. Первой увидел Даму Элизабет — похоже, искренне мне обрадовалась. Потом Лаура — огненногривая венецианка, которую встречал в семинаре по чтению ксилографов Питера Корницки. Мало того, что весьма мила, так ещё и свободно по-английски, французски, японски (современный и классический; читает рукописи и разбирается в этикетных стилях). И лет ей всего 35! Был там и сам Корницки — который зачем-то обратился ко мне на довольно фрагментарном русском, но, засмеявшись, быстро с него слез. Он подтвердил, что в ГМИИ было старое (“original”) издание «Манга». Ну-ну. Настучать бы на них Путину, а он их за пропажу — в лагерь. Смешно. За обедом сидел рядом с Донателлой, директором японского музея в Генуе — есть любопытные общие темы по части собирательства XIX века, но с десерта пришлось уйти, чтоб поспеть на обратный поезд в Лондон, а там с Liverpool Station на St. Pancras — и в Париж к Патечке.



24 сентября, Париж

Приехал на Gare du Nord в неслыханную рань. П. спала — вся в простуде, бедная, и даже бросила курить.

В Париже тепло и по-осеннему мягко, рассеянный свет... Был (один — дошёл, гуляя, а П. всё болеет) в Музее-мастерской Осипа Цадкина. На обратном пути у Люксембургского сада видел Техно-парад — собствен-

но, сидел себе с трубкой и видом на Марию Стюарт, как услышал дикий рёв музыки. Вышел за ограду — там танцующие толпы, разукрашенные автобусы, бухие негры (и не только они), миллион бутылок на мостовой — которые за пять минут убрали ехавшие сзади специальные машины.

Вчера, 23-го, вывел Патечку в Музей романтической жизни — давняя моя любовь, ещё с тех пор, пожалуй, как готовил к изданию книжку Филиппа Жюлиана о Делакура. Великолепная, кстати, книга — кладезь контекста, блестящие прозрения и искромётный стиль. Вот посмотрел, что о нём написали после смерти (в 58 лет): «Политически консерватор и протестант, Жюлиан был всегда аутсайдером в своей родной Франции. Его искусствоведческие книги... почти не содержали сносок и делали акцент на литературном стиле за счёт фактической точности». Молодец! Мне он ещё эвона когда полюбился. А музейчик — мил, хоть таланты (за исключением того же Делакура) — умеренные, но сколько шарма! Втолковывал прелести романтической жизни П., пока она не начала романтически таять. Потом перетекли в музей Чернуски — очень хорошая выставка ранней буддийской скульптуры, посидели на солнышке в парке Монсо... Вчера обедали за углом от дома в грузинском ресторане (по её настоянию, разумеется) — абсолютно пусто, невкусно и дорого (и преогромный мафиозный «мерседес» перед входом); сегодня — в Le President, через дорогу. Ели костный мозг (сошлись на том, что в Нью-Йорке такого никогда не было), а я ещё кишки и прочее внутреннее устройство жвачных животных (tripe). Не скажу, что понравилось. Коровьи лёгкие в китайских ресторанах едва ли хуже.



3 октября, Москва

Прилетел сюда 25-го. В тот же вечер — в Vaibakov Art Center на Красном Октябре. Искусство — дрянное, толпа — знатная. Перед каждой картиной — по персональному охраннику с проводом в ухе. Гламурные девки, пожилые мужики. Потом обед в «Бон» на Якиманской набережной. Интерьер Ричарда Старка в стиле KGB-гар или КГБ-гламур — золотые автоматы Калашникова повсюду. Обилие иностранцев непонятного разлива. Чудовищное обслуживание. Вино немедленно кончилось. 40 минут — ждать закуски, полтора часа — основное блюдо (когого я не дождался и ушёл в раздражении).

На следующий день — к Гробманам на Петровку, 25 — ММОМА. Опоздал и пропустил речь Лёли и песни Миши. Саша Петрова, Алиса Найман (кино «Омоним»), какой-то сомнительный Пьер Броше. Выставка (коллажи) — отменно занимательна. Поехали потом на Винзавод. Там мильон всего — большей частью пакостного. Разве что А. Бродского отметил — «Ночь перед битвой» — солдаты в домиках перед костром. Ещё «Кудымкор» — художник двадцатых годов Субботин-Пермяк. Трогательный самодельно-энтузиазный авангард. Куратор — Катя Дёготь, которая подарила каталог. Потом не помню, что. Да, позвонил в начале вечера М. — не ответила, но перезвонила через минуту. «Женя!» — «Ты где?» — «На кладбище». Весьма сдержанно сказал, что вот, приехал, вот, можем пойти на открытие выставки Миши Гробмана. Сказала, что через день едет на конференцию в Вену, но приедет 1-го, тогда встретимся. Очень хочет меня видеть. Ну-ну... Как-то сделалось радостно-приподнято. Ждал как мальчик. Первого не звонил, второго не звонил, позвонила сама около четырёх часов — я был в консерватории, покупал билеты. Предложил пойти вечером, но отговорила усталостью, договорились встретиться назавтра.

Встретились у Пампушки, предложила пойти в Филипповскую булочную, которая оказалась на ремонте, пошли в ОГИ на Петровке (где был до того с Лёлей). Шли по Пушкинской мимо ломбарда, говорю: «Вот тут ночью в первый раз... Сколько уже лет как?» Она: «Тридцать». Я? «Нет, 29». Сначала долгий общий трёп — про дурацкую биеннале в «Гараже» долго расспрашивала, потом то-сё, про путешествия — как она Норвегию любит, Стокгольм... Я, наконец, в общем, упомянул за глинтвейном свой с первой встречи романтический интерес, привлекательность типа и личности и т. п. Смотрела, слушала... Про путешествия — фадю, Лиссабон. Я, говорю, на велосипеде люблю. «А я на машине». — «ОК, возьмём машину!» Но как-то увяла. Виза, говорит... В общем, и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Т. е., в общем, нет. Дал ей книжку Павича «Ящик из красного дерева», рассказал историю про то, как встретил в Нью-Йорке в сабвее девицу с книжкой «Пейзаж, нарисованный чаем» в 2001. О том, что надо или не надо использовать такие встречи. В ответ рассказала анекдот про то, как Бог к старому еврею спасателю посылал — что всё это означает — непонятно... Расставаясь, сказал, пиши, если хочешь. Она: звони, если хочешь...



16 октября, 3 ночи, Берлин

Решил всё-таки поехать в Лиссабон — перед Гейдельбергом. Придумал: 5 ноября в Париж, через неделю с Патечкой в Лиссабон на неделю, потом с ней же в Гейдельберг, а после лекции 20-го взять машину и на несколько дней в Баден-Баден — в баню сходить — и на юг по Шварцвальду.



Как-то так получилось, что недели две уж как я прожил без бутылки коньяка на столе. Купил дня три назад, но как-то забыл открыть. И вот, в минуту нетворческой паузы, откупорил, налил и выпил. И сразу захотелось раскурить трубочку, что и проделал с удовольствием. Попыхтерил сладким вишнёвым дымком, подливая и прихлёбывая, и сразу захотелось написать чего-нибудь этакого.

Тихие радости застольного человека...

25 (?) октября, 6 утра

Посмотрел «Ключ без права передачи» — как всегда, устав к трём (ночи!) заниматься своей японской писаниной, решил перед сном отвлечься какой-нибудь припоминательной фигнёй. Открылся наугад на сайте советского кино «Ключ без права передачи», Диана Асанова, 1976. Название помню, но, разумеется, тогда не смотрел. Интересно, почему я ни в чём не участвовал? Принцип неучастия в советской жизни, конечно. А может, изначальная обочинность. Видно, считал, что дрянь советская. А сейчас смотрю, с ласковым стариковским прищуром, там — мило, лирично. Хотя, с другой стороны, пафос «искренности», на мой вкус, временами сбивается в пошлость или в лёгонький интеллигентский надрыв, который неловко смотреть. Песня Окуджавы — «Давайте восклицать, друг другом восхищаться...», и сам он в кадре стихи читает, и лет ему 51–52. Меньше, чем мне сейчас, хотя по ощущениям, мне кажется, выглядит лет на 20 старше. И рядом Давид Самойлов, Ахмадулина, Михаил Дудин — на четыре поэта три инородца. Всё-таки что-то такое было в этой советской системе.



Вот снова за окном стемнело — а чем я, Г-ди, успел чего-дня отличиться? Восстал с одра около часу, то-сё, активная переписка с Гамбургом и Йокогамой по поводу японской версии «Дамы с собачкой» — фильма, который почему-то в меня запал, и для коего нашёл заинтересованных в нём японцев. Вот, кстати, из него кусок, далеко не лучший, но выразительный http://www.bildschoen-filmproduktion.de/die_dame.html

Что ещё? — Три дня, перемежаясь, сочиняю тексты для конференций в Майнце, Оксфорде и Манчестере. За чем — не знаю. Вот в Гейдельберг еду за тем же: http://iko.uni-hd.de/archiv/veranstaltungen/2009_1118_les_steiner.html (надеюсь, что среди моих читателей искусствоведов в штатском нет, и чаем с палладием меня угощать не будут (так одна коллега в Лондоне недавно выразилась)).

А впрочем, я знаю, зачем я туда еду — отправиться после лекции по соседству в Баден-Баден, испить водицы, сыграть на рулетке и понежиться с Патечкой в термах Каракаллы.

Почему-то никак не могу усесться писать раньше четырёх пополудни. И до шести-семи — никак не разогнаться. Зато потом — ух, этакая крыса, пером только — тр, тр... пошёл писать. До двух-трёх... Вот только коллежским ассессором меня никто не хочет сделать.



10 ноября, утро в Лиссабоне.

Патечка пишет и-мэйлы, я гляжу в окно

Прилетели вчера — чудом. Накануне вылета справился с расписанием RER в CDG, добавил полчаса на неожиданности, поехали. На Сен-Мишель оказалось, что RER бастует. Муслимовидный мужик в окошке информации посоветовал ехать на Гар дю Нор — оттуда-де можно. Но

оказалось, что тоже невозможно. RER — он везде RER, и коли бастует, то повсеместно. Выстояв очередь в минут 15, погрузились в такси. Еврейского вида старушка за рулём по-матерински увещевала всегда слушать последние известия по радио, но домчала лихо и всего на пять минут после официального закрытия ворот на посадку, сказав на прощанье, чтоб не расстраивались, ибо с доплатой почти наверняка улетим следующим рейсом через шесть часов.

Следующие пять минут ушли на Патечкины препирательства с девицей в шинели по сценарию: «Регистрация закончилась» — «А мы уже по интернету зарегистрировались» — «А багаж больше не принимают» — «А мы не сдаём». Наконец девица сказала, ладно, бегите, только там вас всё равно не пустят. Побежали. У ворот не только пустили, но сказали, чтоб мы не торопились, поскольку вылет задерживается на полчаса. Harry end.

Но такой счастливый конец бывает далеко не всегда. В прошлом (или уже позапрошлом?) году мы три дня пытались уехать из Парижа в Нанси — когда не работал не только RER, но и метро вкупе с TGV. Не удалось. Или, помню, как года три назад прилетел около полуночи из Берлина в Орли — по поводу всеобщей забастовки транспорта не было никакого, за исключением какого-то «милосердного» немаркированного автобуса, который через полчаса неразберихи отвёз (бесплатно) к Denfert-Rochereau. И ещё что-то в этом роде, чего уж и не помню.



13 ноября, утром в гостинице, ожидая завершения Патечкиного туалета

Вчера в Альфаме, пока она выбирала какую-то керамику, а я вышел постоять снаружи, подошёл немытый па-

рень в дрэдах с двумя собаками и попросил денег. Сказал, он из Чехии, путешествует по Европе, ему бы собачек покормить, а завтра ему madre пришлёт (говорил по-английски). Показалось, что врёт — не чех, и не дал. Потом испереживался. Габи просит денег на квартиру в Тель-Авиве (\$1500), которую я НЕ советовал ему снимать, пока не разберётся с армией. Наверно, надо будет туда полететь — помочь разобраться, устроиться...



Голос Марии да Назаре реверберирует в мозгу (как перья страуса склонённые) уже второй день. Вспомнил, как писал лет десять назад, Беатрисе, в Париж, «...призрак другой Марии, португалки Марии да Назаре, чей голос, исполнявшей фадю, берedit меня до дрожи вот уже несколько лет, с тех пор, как я случайно наткнулся на неё в Токио...» Да, в Токио — осенью 94-го Тосико-сан принесла кассету. Наверно, это был мой первый опыт знакомства с фадю — и самый сильный. Накопил с течением лет с поддюжины дисков, но Марии да Назаре нигде не нашёл и подобной ей не слышал. Даже в интернете ещё пару лет назад проверял — ни единой ссылки. Тосико-сан говорила, что она журналистка и пела просто так. Кассета та осталась в Нью-Йорке, давно уж не слушал...

И вот ходили с Пэтти в Кафе Лузо — столь прославленное и столь дрянной туристической фигнёй оказавшееся. Немыслимый обед, где в виде салата подавали непрожуйную траву, плававшую в уксусе, а основное блюдо — жареная форель по-португальски — оказалась одной третью пересоленной невеликой рыбки с тремя ломтиками картошки и сиротливой метёлкой укропа. Полное жульничество за 120 евро. А певички фадю были толстые и скучные и делали двадцатиминутные паузы. Бочонковидная девица ходила вокруг столиков и совала

под нос жующим собственные диски. Был единственный приличный певец, Марко Родригес (к Амалии отношения не имеет), который на мой вопрос о Марии да Назаре, сказал, что она поёт раз в неделю в таком-то месте. Я был в шоке — никогда не верил, что её можно найти.

На самом деле, место это было нелегко найти — домик без опознавательных знаков в конце узенького тупика под Христовой аркой в Альфаме. К счастью, выступление значилось в последний день нашего пребывания в Лиссабоне — с записью за неделю. Когда она появилась в зале, я немедленно узнал её — хотя видел её фото двадцатилетней давности лет десять назад. Как назвать впечатление? — гальваническое? Все те дни в Токио, потерянная где-то там любовь и долгие годы шатания-болтания вокруг глобуса с её голосом глубоко под рёбрами... Мог ли думать, что увижу её и пожму руку. Но, с другой стороны, дорога из Токио в Лиссабон могла бы быть и покороче, а не в пятнадцать лет.

Печальный г-н Пять процентов

Воспоминания о Лиссабоне навели на образ Гюльбенкяна (так по-русски Gulbenkian?). Армянин из Оттоманского Стамбула, за опасностью и бесперспективностью проживания там, уехал (задолго до геноцида) в Европу, стал британским гражданином. Но связи с Портой благо-разумно не терял — посредничал в её (и после «перестроившихся» турок) и западных контактах по нефтедобыче, имея за каждую сделку по 5 процентов. Несметные свои миллионы тратил на произведения искусства и благотворительность, но был скрягой. Имел дома в Лондоне и Париже, но последние годы провёл в гостинице в Лиссабоне, в этой дальней европейской дыре с облезлыми имперскими фасадами, отовсюду экспатом. На голые стены номе-

ра не повесил ни картинки. Жил замкнуто, но со всеми скандалил. Хотел прожить до 120 и ел в основном йогурт, запивая соком редьки, но дотянул «только» до 86. За вычетом какой-то мелочи (миллион-другой?) детям, всё оставил городу Лиссабону (да ещё полмиллиона на восстановление Эчмиадзина — не знаю, воспользовались ли этим советские или армянские власти).

Тринадцать последних лет в гостинице в Лиссабоне — жуть-то какая...



Был два дня в Гейдельберге. Лекцию хвалили, но как-то самому мне не очень понравилось. Принимали как бы с почётом, но в гостинице велели доплатить 20 евро за Патечку, поскольку хоть номер и двухместный, в бюджете у них значится лишь один приглашённый профессор. Ох уж это немецкое крохоборство... Обед с Мелани и скандал с Патечкой, которая устала лезть в гору, чтобы с Пути Философов полюбоваться на город и другую гору.



На третий день кружения по серпантину дорог Шварцвальда (иногда совершенно грунтовых и буреломных — мимо местечек в два дома под названием Мельница В Ведьминой Дыре — Hexenloch Muehle) приехали в Триберг, который оказался сказочно красивым и сказочно же затерянным вдалеке от всего. (В сущности, так оно и есть). И вот посреди этого прянично-фахтверкового городишки увидел на одном доме надпись Haus Bogoljubov, а рядом доску, на коей было написано, что русский шахматист Боголюбов приехал в Триберг летом 1914 на недельку поиграть в шахматы, но был интернирован, когда началась война, провёл там всю Первую мировую, на

исходе оной женился на дочке местного учителя, да так и жил в Триберге до 1952, пока не умер. А ещё-де о нём Цвейг в «Шахматной новелле» писал.

Сентиментального путешественника в моём лице, не удерживающегося подолгу на одном месте, история впечатлила. Тут же представил, как приезжает молодой, энергичный, брызжущий силой, погулять в некое, пусть очаровательное, захолустье — и подвергается там аресту — пусть мягкому, но из округи — ни ногой. И сидит там пять лет, на водопад смотрит, шнапс пьёт и маульташами закусывает, потом с тоски женится на представительнице туземной интеллигенции — и остаётся там же на всю жизнь. Сильно впечатлился. Судьба, жестокие игры века, русский кандидат в чемпионы мира — в городке (5 тысяч жителей ныне) часовщиков-кукушечников. Это ж надо такое накуковать!

Через несколько дней, нарисовав уже в голове целый роман о грустной жизни затерявшегося в Чёрном Лесу пришельца, решил посмотреть про него в Интернете. И узнал, что:

- в Триберг он приехал с 2–3 коллегами-шахматистами (тоже потом интернированными) — было, т. е., с кем поиграть;
- после войны свободу перемещения немцы, естественно, вернули, и он активно этим пользовался — изъездил Европу, играя в турнирах, добрался в 1924 до Москвы и быстренько стал чемпионом СССР — а также гражданином одного государственного образования;
- Выиграв чемпионат и на следующий, 1925 год, заскучал по Германии, куда и сумел вернуться, будучи большевиками гражданства, а заодно и чемпионского звания, лишён;
- Стал немецким гражданином, дважды играл на первенство мира с Алёхиным (французским граждани-

ном). Купил дом в Триберге. Хозяйственная жена стала постояльцев пускать;

- Вступил в нацистскую партию, активно играл в турнирах во время войны на оккупированных территориях — то в Кракове, то в Киеве, чудом убежал от Красной армии;
- Вернулся в Триберг, опубликовал несколько шахматных книжек, снова, как ни в чём не бывало, ездил по европейским турнирам;
- Был толстеньким и кругленьким, всегда шутил и хохотал, любил шнапс и барышень;
- Умер дома во сне, сильно погуляв и выпив накануне.

Вот вам и бедный бледный арестант, жертва века и Чёрного Леса. Мог бы, конечно, стать унылой жертвой, но просто жизнь надо любить, да про шнапс не забывать.

А в «Шахматной новелле» про него всего два слова. Но вещь сильная. Я ещё в детстве по ней сделанный фильм смотрел. Сильный фильм. Но не про него.



25 ноября, Берлин

И хваленая немецкая пунктуальность нынче ни к чёрту — вот во вторник задержка поезда из Гейдельберга свела промежуток между поездами в Манхайме с 8 до 2 минут. Опять малоспортивная беготня через толпу с сумками, запыхавшийся поцелуй на перроне с одновременным вскакиванием на подножку — после чего скорый курьерский стоит и не чешется ещё 7 минут... Или в сказочном Uhrenland'e — куда не помотришь — десятки их прославленных ходиков, но все показывают разное время почему-то. Впрочем, если бы все показывали одно, было бы, наверно, скушно...

◆◆◆

Читать российские новости — странный вид мазохизма, коему я с недавних пор стал постыдно addictive. Вот зачем-то прочитал про цены на лекарства. И вспомнил собственный опыт. Прихватило меня в минувшем феврале — то ли очередной приступ личной жизни повлиял, то ли общий нездоровый образ её же (в смысле, жизни), то ли вообще уже пора — короче, отправился к кардиологам, прогнали по всем тестам, сказали, ничего страшного, но посоветовали принимать по некоей таблетке в день — на всякий-де случай — по статистике сильно предотвращает то, что с мужчинами вашей возрастной группы, в полном расцвете сил и средней упитанности, уже случалось прям в прямом эфире...

И вот купил упаковку в сто пилюль — 14.90 евро в Германии. А потом в Москве докупил: упаковка в 28 — 859 руб. 20 коп. (Та же немецкая фирма). А был недавно в Париже, купил ещё — упаковка в 90 — 39 евро (это мне, как этранжеру, а тем, кто в системе нац. страхования — 65 процентов скидка). В Англии, кстати, все лекарства по рецептам вообще стоят 7 фунтов или меньше.

И вот я изумлённо подсчитал, что одна таблетка в Германии стоит 3 руб. и 2 коп. Во Франции — 6,9 руб., а в России — 30,7 руб. А разница в зарплате превращает 10-кратную германо-российскую разницу в стократную. Да что же это за страна такая?

◆◆◆

Прочёл сейчас у Померанца: «Я запомнил её афоризм: надо или жить, или читать газеты». Слова эти Е. В. Завадской. Жаль, что она мне этого вовремя не сказала. Я бы тогда столько газет не прочёл! Впрочем, когда мы с ней

общались, я их, ясное дело, и не читал. Вот только в самое последнее время всякую дрянь в интернете проглядываю. Наверно, это как раз за отсутствием жизни.

◆◆◆

8 декабря, Иерусалим

После ланча ученых в Институте Курто 4-го (половина народа за столом — молодые, половина — противные), полетел в Израиль помогать Гаврику устроиться. Были в Яффо — грязь, арабы, дороговизна. Девушка-метавех марроканского типа сказала: «Многие евреи из Тель-Авива переезжают сюда. К сожалению». Подумал — может, она арабка. Нет, говорит, — в армии служила («К сожалению»). Потом — в район улицы Флорентин — к русскому метавеху с седым хвостом, смотреть квартиру, за которую Габи уже дал задаток в 100 долларов. Решили взять: две комнатки, мебель, плита, холодильник. Грязновато, но достаточно прилично. Потом, под проливным дождём, оставившим глубокие ручьи, — в кафе «10, Флорентин».

В маршрутке в Иерусалим строили планы и планировали логистику: заплатить за колледж в Манчестере, получить письмо о зачислении, с ним идти получать британскую студенческую визу... Пришли к Верникам, радостный Гаврик объявил, что сняли квартиру, и пошёл звонить маме. Через пять минут вышел с опрокинутым лицом и сказал, что всё отменяется, мамка против. Саша сидел, таращил честные глаза и, заикаясь, мотал головой: «Не понимаю». А чего тут понимать-то...

Патечка прониклась и позвала Габи в Париж на Рождество.

Проснулся около полудня — сон: умерла мама, и я вроде как в Москве. Пошёл в гости, к кому, не помню, помню, что толстая. О чём-то щебечет, я молчу. Выглянул в окно — увидел на углу Черноморского бульвара кучку родственников, подумал, что и мне надо с ними, устыдился, что в гости болтать пришёл и, быстро извинившись, выбежал. Надел при этом какие-то странные башмаки — длинные колоды в полметра или больше, грубо вытесанные топором из брёвен и, шлёпая и стучая, побежал. А группы уже не видно. Дай, думаю, срежу угол. Побежал обратно через двор и, подняв глаза, увидел в окне Виталика, который на меня смотрел. Смущённо отпрянул и увидел переход вроде арочной галереи в нужном мне направлении. Ага, думаю, это быстрее всего через дорогу и вниз по наклонному пандусу вниз в своих брёвнышкам стук-стук. И через какое-то время эта галерея, собственно, это уже крытый туннель, кончается глухой стеной, а вправо отходит сильно вниз низкая дорожка — просто уходит вниз, в темноту. Я в замешательстве остановился — не то, чтобы испугался, но понял, что мне не туда. Обернулся и увидел, что за спиной — в двух шагах, т. е. сильно ближе, чем мне комфортно, — старушка, в как бы интеллигентном чёрном бедном костюмчике (типа пиджака-жакетки), на голове какая-то шляпка. Спрашивает: «Что, прохода нет?» Я ответил что-то вроде: «Мне не туда, я хотел на бульвар, родственников догнать...» и проснулся. А проснувшись, подумал, что и Виталик в окне, и родственники на бульваре все уже мёртвые. Или не все?

Берлин, под утро

Прошлой осенью в Париже купил псевдо-сиквел к «Над пропастью во ржи»: «60 лет спустя: пробираясь через

рожь» — довольно плохо написано, разочарован. Каждые пять минут старый мистер К. облегчает свой мочевого пузырь — но никогда не делает номер два. Но нелепые блуждания старого Холдена были всё же странно притягательны. Купил её в магазине «Вилледж Войс» на рю Принцесс, когда ходили туда с Патечкой, которая заказала что-то умственное по истории искусства. За несколько месяцев до того я привёз ей «Блаженной памяти» Эрики Джонг (или всё-таки Йонг?). Юная Салли там приезжает повидать старого затворника Данцига и остаётся у него на несколько лет. И вот он умер. Забавно: несколько моих любимых книг осели у П. в П. R.I.P.

И вот я снова тут. Точнее, уже не там. А совсем скоро где-то ещё.

Подсчитал в самолёте, что летал в этом году 24 раза, 12 раз ездил на поезде (пригородные не в счёт), а один раз трясся на автобусе через три страны.

Было 15 путешествий в 23 города в семи странах. Был не на основной своей стоянке 105 дней, а с Патечкой — 47. И вот во вторник снова в Париж. Значит полётов станет 25, километров — ещё на 600 больше, дней в посреди того и этого — 114, а с Патечкой — 56.

Ну как вот так вот можно жить...

Распаковал коробку, в которую засунул книги прошлым летом — и вот она, нечаянная радость — нашёлся каталог бывшей коллекции Костаки из Музея Дины Верни, который думал, что забыл в Амхерсте в мае, а ещё выплыла книжечка Уильяма Бойда *Fascination* — не умею сказать по-русски — тут и обаяние (грустное), и изумление

(детски-старческое), и притягательность (нездоровая). Нехорошо, что русский у меня буксует — будто бы на каком ином насобачился. Видно, это ещё японо-китайская фишня действует. Комментирую дни и ночи Хокусая. Вот вчера до пяти утра разбирался с его 庚甲塔, что, потом осенило, оказалось 庚申塔 — он (или резчик его) маленький хвостик недописал — и напрочь исчез дурной день Косин и обезьяна, и три червяка, из тела вылезавших, и девять паразитов, вылезавших оттуда же... Станный, странный вид экзистенции. (Это я не про паразитов, а про себя). Но вот прервусь, в Москву поеду... Талдычить о необходимости академических контактов для российской науки буду...



24 января

Оказывается, Авраам (Аврум) Суцкевер был всё это время жив — умер только что (19 янв.) в Тель-Авиве в возрасте 96 лет. Так странно. Совсем недавно слушал его “Unter Dyne Vayse Shtern” — и представить не мог, что он ещё around. Он родился в 1913 в Сморгони. Как ни странно, я помню слегка этот городишко, до Первой мировой войны населённый преимущественно евреями, а в 1980-м — едва ли сохранившем о них хоть какие воспоминания. В 80-м — мы там оказались, когда решили уехать из Москвы на время олимпиады. С надувным японским плотом доехали на поезде до Сморгони, а там стали сплавляться по Неману в сторону Литвы. Сашу Медвинского, владельца чудо-плота, видел пару лет назад в Эдинбурге, он там нынче при университете.



Думаешь, что живёшь давно уже в каких-то пост-последних (или матрично-новых — что, в принципе, одно и то же) временах, а когда читаешь некрологи, осознаёшь, что ещё вчера где-то как-то, неоощуяемо, но бытийственно жили ещё люди «раньше времени», как говаривал Паниковский. Но вот с интервалом в день-два ушли трое (а может, и больше), родившихся ещё в конце 1910-х — невидимый уже 60 лет Сэлинджер, и Луис Окинклос (Louis Auchincloss), плодовитый живописатель «старых денег» Нью-Йорка и сам из старой знати, и Евгений Агранович — до вчерашнего дня живой автор песни «Одесса-мама», написанной ещё до войны. Сюр да и только.

Но вот что меня занимает: на сайте его значится, что он сочинил песню «Солдат из Алабамы» со словами:

О Сюзанна, как счастлив буду я
После стольких лет разлуки
Увидать свои края.

Ну вообще-то это известная «Сюзанна», которую я — невероятно, но факт — распевал хором в 5-м классе на уроках английского. Учительница наша, Рашель Давыдовна, разучивала с нами множество старинных песенок (ей было под шестьдесят, и жила она до войны в Риге — т. е. первые лет 30 своей жизни — не при Советской власти). И слова там были такие:

Oh! Susanna!
Oh! don't you cry for me
I've come from Alabama
Wid mi banjo on my knee.

Помню, я спрашивал, почему это какой-то неправильный английский, а она отвечала, что мол, это негр поёт,

а он языка толком не знает. (Верно, много лет спустя я узнал, что её исполняли в комических blackface troupes. Но дело не в этом. Аграновский её, ясное дело, вольно перевёл — хотя на сайте ни слова об американском оригинале нет).

Но дело не в этом. Году этак в 76—77 был я в гостях у Г. С. Померанца (пошёл по рекомендации Е. В. Завадской в качестве умного студента, интересовавшегося Востоком). И не помню, как на это перешёл разговор, но он вдруг процитировал несколько строк из строевой песни, которую они «вместе с Жорой Кнабе» сочинили осенью 1941-го, будучи в ополчении. Там были слова про удалые маршировки и (единственное, что я запомнил дословно) — «шёл боец второго взвода». Несколько лет спустя я познакомился с Георгием Степановичем Кнабе и как-то, будучи у него в гостях (или он ко мне в Подколокольный пришёл? — помню, было весело и некоторое подпитие — значит, скорее всего, в мой день рождения), так вот, я его спросил про эту строевую песню, которую они с Григорием Соломоновичем сочинили — на какой мотив? «О, Сюзанна», — немедленно ответил Кнабе.

И вот я задумался: это что же — все московские студенты (Аграновский — Литинститут, Померанц с Кнабе — ИФЛИ) сочиняли свои стишки на мотив американской “Сюзанны” во время войны? Или всё-таки был (есть?) русский ур-текст? И вообще, куда смотрел политотдел? У Аграновского уже не спросишь (впрочем, я с ним знаком не был), а вот Померанц (р. 1918) и Кнабе (р. 1920) ещё вовсю. Меня, кстати, время от времени подмывает последнему позвонить да пару вопросов задать, но, боюсь, он разволнуется...



Ночь на 4 апреля, Москва

Приехал разговаривать с Разлоговым о конференции «Ориентализм». Ходил на Идиш-фест в клубе «Икра». Собрался честно купить билет, но меня увидела Аня, встречающая гостей, и велела пропускавшему парнишке поставить мне на руку светящийся штамп, сказав, что мама в этом году многих забыла, и меня в списке нет. Так я и не ждал. Увидел потом М. — обнялись неловко, перемолвились на лестнице. Потом углядел её в зале и смотрел сзади целый час. Стояла одна, притоптывала, в ладошки хлопала, гривой покачивала, назад не оглядывалась. Ушёл тихо незадолго до полуночи. А музыка? — был хороший джем с Фрэнком Лондоном.



Год назад (иль больше?) ходили с П. в театрик Tambour Royal (Passage River, rue du Fbg du Temple) слушать певицу Талилу (Talila) в программе «My Yiddish Blues». Оказалось, что она не только пела, но и рассказывала смешные истории, развлекая аудиторию в духе кабаре 1920-х годов. (Рассказывала по-французски, несмотря на английское название, так что понимал я через пятое на десятое, но не в этом суть). Милая, стройная и сильно немолодая, с очаровательной улыбкой — и полупустым залом (потёртый плюш плюс замызганный паркет) человек на тридцать. Район — загажен. На фасадах ар нуво намалёваны арабские граффити, у халяльных лавок клубится угрюмая шпана...

Талила пела песенку под названием «Палестина». Я из каких-то сентиментально-сердобольных позывов купил после концерта диск (довольно трогательный) и увидел, что эта песня значится как *traditionnel*. В отличие от всех прочих (идиш или французский), эта была по-английски,

со смешным акцентом, одновременно и местечковым и французским. Не все слова я разобрал, и вот захотел вдруг найти текст — и нашёл. Разумеется, никакая не народная — а вполне бродвейски-водевильная, написана в 1920 в Нью-Йорке (Russel Robinson, music and Con Conrad, words). Но самое занятное, что слова оказались довольно сильно изменены.

Талила пела: «In the Bronx of New York City Lives a girl, she's very pretty...»

В оригинале: «In the Bronx of New York City Lives a girl, she's not so pretty...» :

Оказалось, песенка не просто задорно-халуцная, а ещё и вполне насмешливая по поводу этой девицы из Бронкса, Лины (Lena — рифмуется с «Палестина»). Была толстая, играла на своей концертине чёрт те как, но в Палестине похудела, таская туда-сюда эту бандуру, и за ней стал волочиться арабский красавец Юсуф, верхом на верблюде, но когда Лина наяривала ему на своей гармошке у его палатки, нежантильный араб проговорился, что ему нравится всего лишь её инструмент..

Так вот: Талила не просто сделала из «not so pretty» «very pretty», но и начисто выкинула полпесни про Юсуфа-ухажёра. И грустно, и смешно..

Варианта Талилы в интернете не нашёл, но есть исполнение 1920 года, там текст ещё менее политически корректный.



Ночь на 7 апреля, Москва

Зашёл, наконец, в издательство «Слово» — просят сделать книгу о Токийском Национальном музее и книгу впечатлений о Японии. Вчера ходил в ГЦСИ (Зоологическая, 13) на открытие выставки «Инновация». Видел Лёву Рубин-

штейна, Инфантэ, много кого ещё. В номинации — очередная книга Монастырского (документация КД и проза). Очень неплохо — но такое впечатление, что у них там больше ничего нет. Уходя, увидел Лёву Рассадникова, который с налёту (не виделись много лет) сказал, что Сергей Хачатуров хвалит моего сына. Тут же набежал и сам Хачатуров (молодой человек в пальто) и стал длинно и едва ль не виновато объяснять, почему много лет назад он критиковал мою книгу про авангард. Всё это сопровождалось морем разлитым очень плохой шипучки под видом шампанского и строго дозированным бренди среднего качества. Поужинали там же с Бланш (забыл фамилию), атташе по культуре французского посольства. За столик набежал тот же Рассадников, который стал рассказывать апокрифы, как меня притесняли в университете — отравили за диссидентство в академку (не было никакой академки и диссидентства явного тоже), не утвердили тему диплома (как это не утвердили — ни слова не помняли) и поставили тройку (не тройку, а пять с плюсом). Ну ладно, плюса, конечно, не было, но всё было замечательно, помню, как Гращенков весьма положительно отзывался. Сюр, в общем, какой-то. Был, кстати, сегодня у Любы и смотрел книжку, выпущенную к 150-летию кафедр — многие умерли: Гращенков (2005), Г. И. Соколов (2007), В. Кириллов (2007), А. Зайцев (2009), Римма Савко (1999), кто-то ещё, не помню..



Прочёл вчера о необходимости введения классического образования (латынь, греческий и т. п.) как средства гуманизации тех, кто нас взрывает и обсирает (пересказываю своими словами — автор был исключительно корректен, и, может, я вообще всё не так понял). Но идея мне нравится, надо бы, конечно. И драть тех, кто спряжения со

склонениями не учит (вот меня за это мало драли, увы). Впрочем, я увлёкся, пожалуй.

И прочёл вот в *The New York Times* про то, что политика «лицом к деревне» Бруклинского музея, коей он следовал уже лет десять, сокрушительно провалилась. Переделали вход на стекляшку, отгрохали огромное фойе, чтоб танцы с выпивкой устраивать; выставки стали делать про «Звёздные войны» и хип-хоп; полсотни знаменитых пиздюлин Джуди Чикаго в постоянной экспозиции разложили; книжки писать стали для читателя-пятиклассника из нерусских, т. е. *minority*, школ — и те, кто были много лет друзьями музея, ходить перестали, а чучмеки — не стали. Каждый год посещаемость падает. Вот что пишут в комментариях:

«I think the Brooklyn [museum] has fallen into the trap that has diminished most American culture these days: taking itself down to the lowest common denominator of the culturally uneducated, instead of giving us all something beautiful, meaningful, and long-lasting to aspire to». Да-с, именно так...



Конец апреля, Лондон

Не успел приехать, как Фуффи предложила иметь с нею ланч, который в итоге оказался гарден-парти, устроенной, чтобы предъявить меня публике. Собрались гости с пространными именами, начиная с самой Фуффи и продолжая её подругой Ликки (которая пришла с матушкой Даффи), а также Сэмми и Алекс. Двое последних оказались девушками Самантой и Александрой. Самое человеческое имя носил Брайан, который, впрочем, был кот. После двух раундов выпивки на него была устроена охота, чтобы засунуть его в сбрую (*harness*) и привязать

к дереву, чтобы и он мог подышать воздухом. Выпивка, кстати, была в количествах, пригодных для ирригации засушливых степей, а горелого мяса пяти сортов хватило бы на гекатомбу. Сидевшая рядом 80-летняя Даффи ласково спрашивала, нравятся ли мне английские сосиски. Ответ: с кислыми яблоками да, а так — нет. Ещё она гордо поведала, что она приехала на такси, которое стоит для пожилых людей полтора фунта за поездку. «А как у вас в России — помогают пенсионерам ездить на такси?». Пришлось смущённо признаться, что не слышал о таком, — вероятно, по молодости лет. Встряла одна из девушек и рассказала, как несколько лет назад таксист в Москве за 10-минутную поездку потребовал три тысячи рублей, а в ответ на высказанное недоумение, запер двери салона и разразился эмоциональной речью по-русски, в которой она разбирала только «сри фаузанд рублейз». Чтобы выйти на волю, пришлось отдать. Сидеть на воле за столом было, кстати, очень поэтично — с Фуффиных деревьев слетали какие-то жёлтые мелкие серёжки или пыльца и красиво устряпывали тарелки, бокалы, волосы и всё остальное.

Обсуждали проблему имени новорождённой Фуффиной внучки — её назвали Шарлотта-Октавия, и сокращение Тави, которое всем нравилось, но немного смущало по поводу возможных дразнилок в школе. Я предложил Тэвье-зе-милквуман. Над предложением задумались, но решили, что Чарли будет в самый раз.

Вышел потом для моциону и на доме наискосок через дорогу заметил круглую синюю бляшку, на которой было написано, что там жил Хаим Вейцман. Завернул за угол и на доме Лейтона, где нынче музей, увидел афишку концерта ближневосточной музыки с какими-то длинными удами и тамтамами. Впрочем, в углу для политкорректности была пририсована сиротливая скрипочка. Хорошо живётся в мультикультурном городе!

25 апреля

В субботу, возвращаясь с Портобелло-роуд, зашёл в книжный, что близ Голландского парка. Прекрасный магазин, иец. (I mean, btw). И увидел на полке книжку Алана Силитоу, о коем много лет или десятилетий и не помышлял, но имя коего помню с 14 лет, когда прочёл в «Иностранке» его «Ключ от двери». Мало что оттуда помню, кроме того, что удивлялся, что по-русски — «от двери», а по-английски — “to the door”. Ещё нравилось, что прозывался он “angry young man”. Поулыбался я внутри себя этим своим воспоминанием и дальше пошёл. А он на следующий день умер. Было рассерженному молодому человеку 82, и был он, как писал один критик, “an outsider’s outsider”. А ещё у него был роман *The Loneliness of the Long Distance Runner*.

Выпали из коробки «Записи и выписки» Гаспарова. Стал читать, обрадовавшись поводу не писать сочинение под названием *Manga as Renga*.

«Ваш дом снесут: рядом будет американское посольство». Ждут. “Сделают капремонт: рядом будет английское посольство”. Ждут. “Отремонтируют фасад: рядом будет индийское посольство”. Ждут. “Ничего не сделают: рядом будет монгольское посольство”. И стоит, из окна видно.» (с. 233)

Экая тонкая антисоветская подтѐбка! А знал ли он, что дом Писемского (Борисоглебский, 11) был разрушен и монгольское посольство занимает как раз этот адрес (д. 11)? Собственно, посольство построили в глубине участка, а на месте дома Писемского и боковых двух фли-

гелей сейчас пустое место. Как я много лет шутил, объясняя снос этого дома, вина его была в том, что он оказался в стратегической близости к монгольскому посольству. Вот и сломали. Это был мой родимый дом (если не считать родимым родильный — Грауэрман).

Анекдот Гаспарова мил, новыдуман сначала и до конца. Не говоря уж о том, что для американского-британского посольства места на Борисоглебском не было, не было и в помине никакого музея Цветаевой — открыли его уже после отмены советской власти, а до того там была обыкновенная коммуналка.

Да и мой анекдот, про то, что дом Писемского (который через дорогу) сломали из-за стратегической близости к монгольскому посольству, верен лишь отчасти. Деревянный особнячок, превращённый в коммуналки, был малоприспособлен для жизни без капитального ремонта — с одной кухней на всю ораву и без центрального отопления. Отлично помню белую кафельную печь в нашей комнате — а комната занимала кабинет Писемского. Так что раннее детство я провёл под столом великого русского писателя (хотя самого стола уже давно не было). Должен заметить, что про малоприспособное для жизни состояние большей части арбатских домов к началу шестидесятых мне в своё время (когда я пыхтел благородным юношеским негодованием про разрушительные злодеяния Моссовета) указал Г. С. Кнабе. Он много всякого-разного наговорил в старости, но тут он, пожалуй, прав.

В результате гарден-парти у Фуффи снискал большой успех у местных девушек и вдовушек — был объявлен “The dish of the party” и ныне приглашаем на перебой. Аннабель, ангажировавшая меня на понедельник, звони-

ла Пэтти в Париж узнать, ем ли я prawns. Ответ: кушать люблю, а так нет (в смысле чистить не люблю). Кстати, английский почему-то богаче русского и даже японского на тему этих тварей: у японцев базовое слово — эби (鰍 или 海老). Оно охватывает и креветок (среди которых по-английски различают shrimp и prawn — последнее не является просто большим первым, как часто думают, а принадлежит к отдельным разновидностям Dendrobranchiata и Pleocyemata), и омаров, и даже раков (каваэби). Кто это из классиков сказал: «Давненько я не брал в руки раков?»



Прочёл случайно: «Командир взвода на войне жил в среднем один-два боя». Интересно, как папа, 18-летний лейтенант, хоть и дважды раненый, но выжил... Впрочем, то данные для пехоты, вероятно, а мой был в артиллерийском взводе связи — телефонный кабель тянул. Но тянул-то на передовую, не иначе... А ещё помню, много лет назад прочёл, что из призванных мальчиков 1924 г. р. погибло ровно 97 процентов. Впечатляет. Кто это, Самойлов, писал? — «Где вы, ребята с двадцатого, мальчики с двадцать четвёртого?» Нет, Николай Панченко.

То-то потом выжившим да не призванным раздолье было...



Пришёл в жопу пьяный (слегка под шофэ) от Аннабел и Стэнли, где выдули четыре бутылки хорошего испанского, а Стэнли ещё — преизрядно виски перед обедом. Просто богатырь. Рассказывал, как во время блица чуть не полгода жил, не вылезая, в бомбоубежище, ибо их

Ист-энд Люфтваффе бомбило каждую ночь, стараясь разрушить доки, после чего он заболел и провёл больше года в больнице в dying row, где другие умирающие подростки его били, приговаривая: «Ты, еврей, иди к своему Гитлеру, из-за тебя он нас бомбит». В итоге он выжил и разбогател, играл 50 лет на театре, платит за обучение пятнадцати внуков, пьёт как лошадь и курит как паровоз. Лет ему 79. Вот молодец.



Сон: на каком-то сборище, на каком-то поле. Пришёл, когда пикник был в разгаре. Там М. стояла в отдалении. Я сел на кочку, сижу. Она увидела, просияла, замахала рукой. Подошёл медленно — засияла пуще прежнего, обняла, сказала, что, мол, я всегда должен сразу подходить, смотрела ласково, с любовью.



Начало июня

Ходил вчера в контору Japan Foundation, on Russell Sq., на встречу с командой молодых кураторов современного искусства из Японии. Зал был битком... Справа от меня сидел чёрный-пречёрный негр, весь в чёрном, исключая блиставшие золотом очки, кольца (на пальцах — если кто чего подумал) и запонки. А слева — парень с самурайским пучком на макушке и с книжкой *Memorie della mia vita* Giorgio de Chirico. Я не удержался и достал из сумки «Сцены из жизни богемы» и держал на коленях, пока кураторы бухтели про глобализацию. Вот такая икэбана...

5 июня

Фуффи уехала в поместье в Испании и оставила Брайана на моё попечение. А он пропал — такой ужас. Готовил я себе форель, вытяжку не включил, запах по всему дому. Открыл окно, через полчаса закрыл, сел пировать, и с Брайаном, думаю, поделюсь рыбкой — глядь, а Брайана-то и нету. Сиганул в окно, глупая bestия. Оббегал всю округу с озабоченным видом, даже патруль подошёл: «Всё ли у вас окэй, сэр?» Никак нет, не окейно мне без Брайана. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. Ой, кстати, я что-то ещё хотел про войну сказать...



Вернулся мой котик. Поздно ночью. Выйдя в очередной раз наружу и не увидев его, решил оставить главному еды и выставил плошки у главного входа и со стороны сада. В саду даже насыпал, как Мальчик-с-пальчик, дорожку из сухих вонючих катышков, которые почему-то котам надо скармливать, от забора и до самой двери. Подействовало моментально — не успел подняться на свой четвёртый этаж, как услышал мяуканье — вылез, шельма, из засады и уселся на садовом крыльце. Обрадовался я ему и всё простил. Потом мы с ним принимали ванну — я внутри, а он сидел умильно рядом и шкодливой лапкой рыльце мыл.



4:10 ночь на 7 июня, Лондон

Делал весь день статью про «Тень воина» для конференции по Куросаве. 8 страниц в 22.000 знаков. Придумал название: «Хоровод теней в поисках своего места». Никак

не решу, что делать, куда ехать: 1) зовут в Москву на конференцию по Куросаве (20–21) и на телевидении лекции читать (25–26); 2) в Антверпен с Патечкой (21); 3) в Чикаго (в начале июля).



«Так ведь не за что-то там боремся, — говаривал он, — а за то, сходить с ума или нет». Марк Аврелий, XI, 38. А я за что? — Даже не знаю. Так, барахтаюсь по привычке.



Поймал себя на том, что одним движеньем открываю пакетики с чаем так, чтобы отрываема верхняя полоска не отлетала, а оставалась висеть, ненадорванная на 1–2 мм.

Подумал, что вполне мог бы быть кайсякунином.



10 июня, Лондон

Был в СОАСе на мастерской по театру Но. Проводил её 76-летний актёр, который сказал, что «большинство драм в Но — о сожалении». (Regret). Отменно сказано. Но не только “regret”, конечно, — оттенок “sorrow” также. По-русски я бы сказал «поэтика горести» — впрочем, нет, слово *урэи* 愁 ближе к печали, горю, огорчению. Замечательный иероглиф — сверху часть «осень», а внизу — «сердце». А осень, в свою очередь, — «трава» и «огонь» (поколику жгли травы на полях осенью). Когда-то, двадцатилетним и одолеваемым вельтшмерцем, сочинил на эту тему пастиш:

Дымом от тлеющих трав
Душу заволокло.
Осень в сердце.

Значит, «поэтика сожаления».

Какая-то дурёха задала вопрос: «Ведь Но был театр аристократов и самураев, а не простых людей. Так чего ж им было горевать, имея власть и деньги?» Ведущий подумал немного и сказал: «Вообще-то были в репертуаре пьесы про победителей тоже, но как-то не задержались». Молодец, сделал аллюзию на то, что Айвэн Моррис назвал “The nobility of failure” — «Благородство поражения». Вернусь к сожалениям — жизнь без них была бы более мелкой.

15 июня, Лондон

Весь день делал список вещей к «Токийскому Национальному музею» для «Слова».

Завтра в 5:25 (ложиться не буду) еду в Париж. Не забыть положить денег на Oyster. Делать: 1) доклад про Куросаву (нет, это успею в самолёте в Москву); 2) ТВ-лекции — план; 3) в поезде — спать; 4) в Париже — послать вопросы по IV тому «Манга»; 5) наметить лекцию для СОАСа.

Жалко, не поеду с П. в Антверпен — там будет её 88-летний кузен из Голливуда, чей отец женился на наследнице Г. Якоби, который передал в берлинский музей свою японскую коллекцию, которую вывезли советские тро-

фейные команды и которая валяется где-то в подвалах у Антоновой.

20 июня, в самолёте Париж-Минск
(куда только не заносит — точнее, эти ребяташки с телевидения, наверно, решили купить билет подешевле)

Четыре дня с П. протекали вполне мирно. Встречала замечательным обедом со стейком. Прошлись потом по району. На рю Фюрстенберг, рядом с любимым мною музеем Делакура, увидел доску: Tcherepnie. Он там жил, оказывается, до 1977.

18-го был ланч с Патриком Бельвером, специалистом по Окинаве, в Chez Fernand на бульваре Распай. В процессе, жестикулируя, он опрокинул на себя рюмку красного и пошёл сушиться в туалет — как мистер Бин, вероятно.

В пятницу ходили на выставку Волошина в мэрию Шестого арондисмана — напротив Сен-Сюльпис. Увидели, проходя, афишку, говорю: «Малый художник, малый поэт, но хороший человек, давай зайдём». Но выставка оказалась большой, качественной и интересной, с прекрасным каталогом. На площади перед Сен-Сюльпис — ярмарка поэтических книг. Ходили туда два раза, я углядел для Пэтти книжку Кати Гранофф и «Песнь песней» с параллельным латинским и французским тестом и иллюстрациями Матисса (25 евро). Она мила, более нормальна, чем раньше. Про совместность говорит. Но как-то грустно... Ходили ещё в музей Виктора Гюго, где была чудная выставка L'Orientale. Идя домой через Марэ, на рю Розье, отказался от наматывания тфилин, настырно вкручиваемых американскими хабадниками.

*22 июня, в советского типа гостинице близ ВДНХ,
куда поселил канал «Культура»*

Не написать ли мне сочинение под названием «Петька на даче, или Моя жизнь в Европе»?



27 июня, в небе по дороге в Дюссельдорф

Конференция по Куросаве была скорее гламурной, нежели шибко научной. Проходила почему-то в зале «Толстой» гостиницы «Рэдиссон-славянская» близ Киевского вокзала. Речи говорили Михалков, Юрий Соломин («Дерсу Узала»), ещё кто-то — все в жанре «Я и Куросава» — и спорили, что он пил — водку или виски. Потом Разголов объявил научную часть, где я был «основным докладчиком».

Воспользовался пропуском «почётного гостя» кинофестиваля и посмотрел какой-то маловыразительный фильм про то, как албанец охранял словенку, жену серба, призванного в армию. Там и этно, там и запретный эрос, там и прочая балканская жуть и вера в светлое начало в человеке. А вот у меня нету такой веры. А может, и начала.

Выйдя из «Октября», повернул за угол и вошёл в Борисоглебский. Там поставили памятник Марине Цветаевой — как раз на моей стороне, в начале лужайки, на месте моего дома. А на другой стороне построили какой-то круглый дом со скошенными окнами — я его видел в хвалебной рецензии в каком-то архитектурном журнале. Интересно — только зачем же в Борисоглебском? Постоял, сфотографировал лужайку, большое дерево, что мы с папой сажали, когда мне было три, и забор. Рядом

монгол в блестящих шароварах гулял с девочкой, которой как раз три, наверно, и было. А на парашюте у памятника урла пила пиво. «Вы откуда?» — закричали они монголу. «Из Монголии». — «А я из Кизила, Тува — соседи». А я рядом стоял, тенью бессловесной.

Потом на Воровского, Ржевский и бульвары — на Горького и в Камергерский. Снял сбоку «Волну» Голубкиной (вылитый Хокусай) и висячие шехтелевские фонари перед театром — вроде бы типичный меандр модерна, но думаю, что ближайшим источником инспирации была как раз хокусаева «Большая волна».

25-го читал на телевидении свой «Мир зыбкой гармонии» — сначала про влияние японского искусства на Запад, потом про контекст «Большой волны» и т. п. Уходя из студии, столкнулся с входившим Аликом Жолковским. В воскресенье (т. е. сегодня) у них Кома Иванов, потом Миша Эпштейн — вот так компания... Перед этим были Андрей Зорин и кто-то ещё.

Шофёр Игорь, который отвозил меня из студии, жил в доме 12 по Мечникову переулку (где мы с Ксеной) и служил в заградотряде на китайской границе (заград — это, оказывается, за спинами пограничников, чтобы они не побежали, когда китайцы нападут).



Ну вот снова как бы передышка — в ближайшую неделю никуда не еду, ничего не вещаю.

Побывал в пунктах П и М, обратно в Л. Патечка меж тем укатила из пункта П в пункт Ч. Я бы тоже хотел, да грехи... И до пункта Р(им) оба не добрались...

Читал дурацкие доклады-лекции про двойничество в «Тени воина», зыбкую гармонию в Хокусае и раздирал на клочки современную манга перед befuddled students (последнее было немедленно по возвращении в Лондон).

«А всё тоска, и нету даже спички...» (Проверил зачем-то эту фразу в Гугле — ни единого хита. Или я её переврал?). Затменно-многозначительные сии писания напомнили Павла Улитина, чью книжку на днях увидел в чужом сортире и попросил на дорожку. Однако листая в самолёте два часа подряд, утомился — такой стиль не работает при прочтении более 2-3 страниц кряду. Чуть не оставил в Дюссельдорфе. А спичек и правда нет. И зажигалка, в лавке, оказавшейся арабскою, на бывшей еврейской улице в Берлине купленная, кончилась. А строчка эта из «Соддатских сонетов» Гитовича.



«Ему уже было почти сорок лет, и он привык проигрывать. Он знал про себя, что он настолько привык проигрывать, что сделался непобедим» (из «Учебника рисования» Максима Кантора). Не думаю, но что-то в этом есть.



Ночь на 8 июля, Лондон

Не еду завтра на конференцию по реституции в Манчестер, иду на конференцию в Курто — «Материальная жизнь вещей», где буду вещать про книжки «Манга». Был сегодня малопродуктивен, разве что ходил за едой и принёс трёхлитровую бутылку сидра. Болит уж несколько дней правое предплечье — к чему бы это. Может, растянул, когда Брайана ловил. Вовсю вошёл в «Манга», хочется копать и копать. Но денег нет.

Надо бы написать Гаврику. Юля Т. написала, что её Аня идёт в Дартмут. Значит, прошло уж лет восемь, как

дети познакомились в бассейне NYU. Так горько за него. Он выпал. И не знаю, войдёт ли обратно.

Послезавтра в Музей Виктории и Альберта — на занятие по китайскому фарфору, и там же на конференцию по японизму.



Стал проглядывать свои «Рефлексии япониста» на предмет новой из них конкокции для издательства «Слово» и заметил, что в Предисловии я поминаю «Записки из Кабинета Неудачника», подаренные М. В. Баньковской (ныне уже покойной), тогда как название-то «Удивительные истории из Кабинета Неудачника». Надобно поправить. И Мадисон, книжку издавший, уже давно отлетел в морозном лесу. Думаю, и он, и акад. Алексеев, а не только Пу Сунлин, причисляли себя к этому племени. The Beautiful Losers. Кстати, зацепившись за пост Йеттергардт, стал как-то думать и вспомнил: «Жизнь проходит под знаком // Неудач и обид...» Кажется, я начинаю больше ему эмпатизировать.



Видел во сне собственную руку, писавшую по-английски что-то умное и поэтичное на красивой желтоватой бумаге. Это был как бы сон-во-сне, ибо помню, что другой я, за кадром находившийся, отметил про себя (pun intended): «Складно загибает. Проснусь — запишу».

Проснулся — и оказалось, что ничего не помню, кроме скрипа пера по той старой, ручной отливки, бумаге. Возможно, это Брайан скрёбся когтями в дверь...



Ночь на 20 июля, 4:30

Звонила П. из Колорадо, жаловалась на родственников и горевала, что из-за «наших сложных отношений» я не поехал (ха-ха).

Вчера около пяти утра закончил Седьмой том «Манга», а перед этим Фуффи устроила ланч с Аннабел и Стэнли — с двух до шести (когда я сумел встать из-за стола и подняться к себе), а они сидели до полуночи и выпили три бутылки вина, три — шампанского и почти литр коньяку. Я, конечно, к этому тоже уста приложил, но всё-таки!

2:30 ночи на 30 июля

Завтра вставать в 8, ехать встречать П., прибывающую чуть не первым «Юростаром». Ох, что будет. Вчера ходила с утра к новому парижскому шринку — та ей всё «объяснила». П., счастливая, бросилась звонить мне. Что объяснила? — ну, например, что я умолкаю, когда ей пора остановиться, значит, ей надо остановиться. И т. п. Предложить ей поехать после Генуи в Ниццу?

3 сентября, Генуя, на заседании в Палаццо Россо

Прочёл доклад, несколько положительных отзывов. Вчера обедал тет-а-тет с Донателлой Фаиллой, сегодня иду на общий дурацкий обед. Председатель Ван де Валле спросил в кулуарах, работала ли Беата, делая каталог, с какими-нибудь вторичными источниками. Я заверил, что наверняка: вот, например, она подписала одну картинку «Соревнование по фартингу», а поскольку это сло-

во не зафиксировано ни в одном англо-русском словаре, значит, откуда-то перекатала, вероятно, не вполне представляя в чем там дело. По-русски надо было бы просто сказать «пердѣж».

1 октября, утро, в поезде Токио-Камакура

В Токио — все дни влажная жара. Когда ехал в экспрессе из Нарита, обратил внимание, что в вагоне много милых японок — молодых и не очень. Подумал, что смотрю на них как-то иначе, чем раньше — то ли стал, наконец, нравиться этот тип красоты, то ли постарел и смотрю благодушно-отстранённо, то ли помирать собрался и просветлел...

По приезде помчался в International Clinic докора Аксёнова, показывать опухоль в глотке (тоже мне — Венюшка Ерофеев), но д-р Микаса посоветовал не суетиться — две недели ничего не изменят. Оттуда на переговоры по книге для «Слова» в Национальный Музей — с картинками могут быть проблемы.

2 октября, Токио

Был в гостях у Доналда Кина. Подарил на прощанье книжку академика Конрада (по-английски) с надписью — по-русски и без обращения: «Дорогому коллеге...» и т. д. Буду девушкам показывать и заливать, что Конрад меня, в гроб сходя, благословил. Сколько мне было, когда он умер? — лет 16, как Пушкину на экзамене.

6 октября, Киото

Был в Ато-рисёти-сэнта (Art Research Center — ох уж этот современный японский) у Акамы. Тот всячески звал к себе и обещал выбить исследовательский грант на год. Подарил ему в Центр несколько книжек, в том числе «Иккю». Когда вернулись с ним с ланча, меня поджидала принцесса Акико — увидела на обложке книги мою фотографию в келье Синдзюана и пришла сказать, что она в этой же келье сейчас живёт. Не слабо: сначала я, потом — племянница императора. С год уже её не видел, обрадовался. Вот уж красавица — без дураков. Нос внушительный. Недаром её двоюродный дедушка, брат императора Сёва, был главным пропагандистом теории о происхождении японцев (или по крайней мере членов императорского дома) от потерянных колен израилевых.



10 октября, Киото

После блужданий и благорастворений в бамбуковом лесу приснился Забельшанский, который учил, как надо спастись, — надо было уезжать из города (или в город — с дачи) — туда должен был вот-вот войти враг. Помню, чувство безысходности (в прямом смысле), когда пытался устроиться на машину (со мной были старые мама и папа), совался к каким-то автобусам от организаций, а там были списки, в которых меня не было и быть не могло. Забельшанский дал какой-то совет и не закончил за суматохой. И я стал его разыскивать — и совершенно забыл его имя. Кругом машины гудят, все орут и плачут, а я думаю, как же к нему обратиться, если я имя забыл. На этом месте проснулся и долго перебирал варианты. Помнил только Борисович. Проверил, когда встал, в ин-

тернете — Григорий. Как можно забыть? И к чему весь это мрак здесь и сейчас? Какие-то детские фильмы про войну.²



23 октября, Москва

Снилось: где-то в тёплом городе с обилием лестниц шёл к морю — с мамой (!). По ступеням спустился за ней прямо в воду — зеленовато-жёлтую под солнцем — тёплую, приятную — бултых и поплыл. Через минуту-другую сообразил, что забыл снять часы — и вернулся на берег. Упаковал часы в пакет, положил в рюкзак, рюкзак — на спину (он вроде бы непромокаемый) и снова вниз к морю. А там уже на всех ступеньках какие-то люди, с трудом пробирались, лавируя. Спустился, наконец, бултыхнулся, поплыл — но мамы уже не увидел в зеленовато-жёлтой воде — и проснулся. Приглашение в смерть?



Пошёл я после вернисажа Игоря Шелковского в кафе на Большой Никитской поговорить с Габи, а там в пустом зальчике пара телевизор смотрит. «Извините, — говорит нам, — что громко, сейчас этот лысый закончит, и фильм

² Спустя какое-то время я узнал, что Гриша Забельшанский умер в Москве — на следующий день после того, как привиделся мне во сне в Японии. Похоже, его угасающее сознание (а точнее, уже бессознательное) посылало всем какие-то последние волны, одна из которых в ночном кошмаре достигла меня. Ещё какое-то время спустя рассказал об этом его вдове Светлане, и она, ничуть не удивившись, сказала, что ей подобное уже рассказывали.

про Бродского будет». Я глянул — а там Симон Шноль в программе «Академия». «Ой, — говорю. — Я на том самом месте на прошлой неделе лекцию читал». Тёнька посмотрела — «Точно, — говорит. — Про Японию?» Слава ☺ LOL. Но это не всё. «А про Бродского, — продолжает она, — это я фильм сделала». И точно — появляется в кадре Венеция, в Венеции — Бродский, Рейн, ещё кто-то и эта дама. Люблю контекст этакий... Такое, пожалуй, только в Москве возможно. Но я завтра уезжаю. Я тут вообще проездом из Японии.



Ходил в гости к Азе Алибековне, сидел два с половиной часа. Очень трогательно. Подарил три книжки, и она свои три: две про античность и одну — воспоминаний. Приехал в ночи в Кратово и читал до пяти утра. Ужасно интересно, но как-то немножко неотделанно — наверно, за ней записывали, да не отредактировали, и немало неточных цитат.



2 марта, на заседании японского симпозиума в Бухаресте

Дрянной бубнёж по бумажке тихим голосом особы из Днепропетровска — трюизмы про Акутагаву. Батюшки — вот уж не думал такое встретить. Вчера в аэропорту встречали студентка с шофёром, повезли в отель «Бертелло» (по имени французского генерала). Гулял по городу — неожиданно много любопытной архитектуры и неожиданно много облезлых фасадов. Город вполне опереточный — богатая лепнина, балкончики, завитушки. Мало отреставрированных, но немало новых стеколяшек. Много

бомжеватого вида мужиков — скорее, мужичков, небритых и пьяненьких. Бабок в платках и меховых (кажется, было такое слово «цигейковых») безрукавках. Много продают цветов — маленькие и часто миленькие букетики. Собачье дерьмо на тротуарах. Зашёл поесть во двор старой армянской гостиницы — постоялого двора. Еда: горба (суп) и дракуловы котлетки (кол заменяет обилие перца).

Был в районе Липсканы (от слова Leipzig), где жили евреи. Видел мемориал Холокоста — утопленный в землю пустой куб, по внутренним стенам которого идёт лента с именами. Идея та же, что и в Варшаве, но в архитектурном отношении более выразительно.



20 марта

Собирался в магазин за едой — оделся — и как у классика: «За рубашкой в комод полезешь, и день потеряян» — навалилась метафизическая усталость, не пошёл. Есть бананы, салат сахалинский и пакет супа.

Звонил М. — спросил, могу ли у неё взять вдруг понадобившуюся свою старую книжку на сканирование. Искала, не нашла (неужто в печке спалила — температент, вроде, не тот), но позвала на Идиш-фест в Milk Club. Пошёл. Вся та же — прекрасная и равнодушная. Через час ушёл.



Как поэт Генделев мне не близок, но отдельные строчки вспоминаю часто — вот эти:

Никого нет
у меня в доме
только заметим вслед
их нет
но не потому
что нет их
их вовсе нет...

Жаль, книжки его под рукой нет. Саша Верник трогательно о нём написал.



В московском «Старбаксе», куда добрался, балансируя по турусам и колёсам. (Турусы — ледяные наросты на тротуаре, а колёса — автомобилей, уютно поставленных посреди тротуаров же). Некрасивая девушка лет тридцати с крысиным хвостиком и в безвкусном офисном спинжаке садится рядом, шмыгает носом и достаёт книжку *Les Mots et les Images*. Через пять минут приходит ейный хахаль, смачно целует и говорит, оправдываясь на опоздание: «Такие пробки, блять, ну никак не мог, блять». За столиком с другой стороны красивая барышня слушает бойко тархтящего американского парнишку. Судя по её редким репликам, понимает она разве что половину. С третьей стороны двое молодых и небритых обсуждают проблемы складирования растаможенных товаров. А в середине сажу я, слушаю из динамика какие-то завывания на нерусском языке и пытаюсь понять, почему сей невкусный кофе стоит 180 руб. Последний раз, когда я был в этом избегаемом мною классе заведений — *corner of Fort Washington and 181 St.* — удовольствие обошлось мне в 2 доллара. Тем временем красивая барышня ушла, и к одинокому американцу немедленно обратилась девушка из-за соседнего столика. На приличном английском она

рассказывает, как она любит Лондон и отчаянно клеится. Welcome to Moscow.



Выбрался вчера впервые — получился долгий обход по местам боевой славы. Началось с того, что пригласили в галерею на Чистых Прудах, посмотреть выставку Александра Айзенштата (милый салон с хорошим, впрочем, чувством колорита и мазка). Предложил им сделать выставку Леонида Берлина — с энтузиазмом за идею ухватились. Вот благое дело будет. А ещё всё впечатлились моим беретом с эмблемой *Yeshiva University. Museum*, которую с некоторого расстояния вполне можно принять за эмблему соответствующих десантников.

Прошёл оттуда по ул. Почвоведов Докучаева (незабвенный батюшка Моисеюшка, ныне иеромонах Мисаил, неизменно так величал диавола); свернул на Чаплыгина, пересёк Покровку, прошёл по Барыковскому мимо церкви, на колокольне коей сидели как-то с Федей Бабицким, об астрологии рассуждали, свернул в Мечников, который, оказывается, нынче Большой Казённый, меланхолично постоял перед домом № 12, который вполне себе стоит, в отличие от здания школы напротив в садике, где как-то ночью пилил украденные на стройке у гостиницы «Урал» доски, предназначавшиеся для книжных полок, и был за сим застигнут милиционером, который тихонько подошёл сзади и спросил «Откуда дровишки?» — «Со стройки, вестимо». Поговорили о книгах, мент к идее книжных полок отнёсся сочувственно, и сообщил, что сам учится в заочном юридическом институте. Расстались душевно — вот были люди в наше время.

Оттуда перетёк на Старую Басманную и всё никак не мог вспомнить, как она называлась по-советски, но когда увидел квартал серых домов тридцатых годов с поку-

шеньями на конструктивизм, вспомнил — имени Карла Маркса — и развеселился. Они бы уж заодно с названием и тот угрюмый ранний совок могли срыть... В гостях в таком доме (в нём вполне неожиданно и анахронистично оказались ампирные кресла карельской берёзы) вспоминал, как в совсем нежном возрасте уплыли от олимпиады на надувном резиновом плоту и доплыли до Вильнюса. Иных уж нет, а те далече.

А потом задами, мимо гламурного клуба «Икра» и бомжепомыточной станции (хозяйка кресел сказала, что там устроен центральный обмывочный пункт для бездомных, которых туда свозят на спецавтобусах, устраивают санобработку и снова выпускают на помойки — но уже чистыми), — добрался до Фрунзенской до М., где был угощаем водкой и селёдкой, плёл что-то про роман Кундеры *L'Ignorance* и забрал своего Модильяни, с коим был в разлуке более 20 лет. И проходя около полуночи мимо Дворца бывшей советской молодёжи, где на тусклом мозаичном фризе какие-то тощие и угловатые по моде семидесятых годов юноши лобызали побуревшее знамя, был опознан (по берету) некими наблюдательными аборигенами. (Кажется, это была Юлиана).

Есть в этом контексте всё-таки что-то трогательное...



Участвовал в конференции по случаю 125-летия Кручёных в Музее Маяковского. Заодно и в музее побывал — недурная экспозиция, весьма авангардная, всюду по-конструктивистски обломанные угловатые плоскости, всё набекрень, масса обнажённого кирпича и осколков стекла. Исторические документы столетней давности экспонируются подвешенными в воздухе и с загибами под вдохновенно-кривыми углами. (Или это такие хорошие копии). Пугающе, деструктивно и привлека-

тельно, чёрт возьми — особенно тогда было привлекательно, в конце 80-х, на исходе Советской власти, когда это делалось. А делалось, как сказано в буклете, силами Военно-строительного управления КГБ, во дворе коего музей, собственно, и находится. Чего только не бывает.

Я рассказывал о своих принципах перевода заумной поэзии Хлебникова и Кручёных на английский — не уверен, что это было адекватно в преимущественно русско-моноголотной аудитории. Заодно рассказал о своей лекции в Институте Курто «Победа над солнцем» как первый звонок к полному затмению». Не побили — вероятно, не доехали.

Была старая молодая гвардия — зубры бюджетлянские и заумники современные. Было интересно послушать рассказы о Круче тех, кто видел его в 50–60-е. Меня уже давно интересовала его жизнь после 1930-го — когда он перестал делать свои тощие книжечки и совершенно замолк, спрятавшись в щель. При этом — как уцелел? Даже не член Союза писателей. На что жил? Почему не посадили хотя бы за тунеядство? Ну, рукописями он торговал уже в «оттепель». А раньше? Жил в комнате коммуналки в доме Вхутемаса, окно напрочь закрыто серой тряпкой, а потом и вовсе заклеено газетами многие годы. Мылся — по пятницам, стирал — на кухне, когда соседи куда-то уходили. Очевидец рассказывал: набил в кастрюлю кальсоны и фуфайки, залил водой, положил сверху кусок хозяйственного мыла, поставил кипятить. Очевидец (тогда студент-филолог) вмешался и постирал. А в дни и годы, когда знающие студенты не приходили? Интересно, чем от него больше несло — кальсонами или хозяйственным мылом. И знаменитая перманентная куча книг, автографов и тряпья на полу. И что он делал почти сорок лет после тридцатого года? Ничего не написав. (Хотя, пару стихотворений кропотливые исследователи, вроде, обнаружили). Ел: вываливал творожный сыр в кружку, зали-

вал кипятком и разминал ложкой. (Тот же студент, бесстрашно постиравший содержимое его кастрюли, сказал, что есть такое угощение не мог и конфузился). Я отлично понимаю и нищету, и неустроенный быт коммунальной квартиры, и стариковскую притерпелость, но должны же быть всё-таки какие-то пределы — личной гигиены хотя бы. Или служение какой-то высшей цели, ради которой можно жить какое-то время по-свински. Впрочем, свињи ему всегда были любезны — ещё Чуковский называл его свинофилом.

Грустное явление. Вот уж воистину пощёчина общественному вкусу — и ничего позитивного, нескандального, неуродского, неиздевательского. И «будущее», которое они сумели породить, отвратительно и убого.

А на самой конференции масса учёных людей по-русски и по-английски пыжилась (иной раз даже почти убедительно) доказать, что абы как накарябанные каракули Круча (несколько лет он выдавал в неделю по книжке-самоделке) — это нечто грандиозарное (он, как известно, был грандиозарь). Прозрения, безусловно, были, но какой неадекватный продукт!

Ехал в электричке. В вагоне топили как в душегубке, вышел в тамбур. В нём стояло четыре азиата — низеньких, жёлто-коричневых, молодых, но помятых от гастарбайтерской жизни, в надвинутых на самые щёлочки шапочках и, как один, сутуло скрюченных. Стояли они аккуратно под наклейкой: «С верой в Христа, с болью за Россию! Русский! Будь черносотенцем! “Хозяин России есть один лишь русский. Так есть и всегда будет!” Ф. М. Достоевский. Чёрная сотня». Ниже — ссылка на их вебсайт.

Тут в вагон вошёл представитель народа — с фингалом под глазом и бутылкой пива наперевес. Вообще заме-

тил, что с пивом тут ходят (и ездят в общественном транспорте) поголовно все (ОК, почти все) парубки и дивчины в самые лютые морозы. Будь я представитель вышеуказанной организации, я б сказал, что это наведённый извне геноцид. Кстати, о морозах: на дворе апрель, вокруг сугробы, ледяная корка на дорогах.

Пошёл на концерт-приношение Н. Л. Трауберг в подвале церкви на Успенском вражке, что в Газетном (это, по-старому, ул. Огарёва — ей богу, раньше лучше было). За углом — Центральный телеграф. Отправляя за пределы кой-какие бумаги — посоветовали заказным, а то потеряется и концов и найдёшь. Так тоже потеряется, но останется справка, что отправляя. Услуги стоили 114 руб. 50 коп., из коих конверт оценивался в 3 руб, доставка — в сто, а остальное — «за наклеивание марок». Идти будет «30 дней, если ничего не случится» — в страну, куда каждый день летает по пять самолётов.

Концерт под названием «Вздохи грешников и хлеб ангельский» — совершенно упоительный. В катакомбной церкви — в сводчатом подвале с трогательными мозаиками³. Консорт виол Гамбринус исполнял английскую музыку конца XVI — нач. VII в. — Бёрд, Кемпион, Доулэнд. Кемпиона сто лет не слышал — *What if a day* — «Краса, удача, счастье, младость — всё отвечает...» Ах. Потом было чаепитие с очаровательными старушками, серьёзными длиннородыми юношами и ангельскими младенцами. И впрямь катакомбная публика.

³ Спустя несколько лет мне выпала честь познакомиться с их автором Александром Корноуховым.

25 апреля

Был в Питере. В Эрмитаже в японских залах выставили массу берлинских вещей. По карточке Ассоциации критиков не пускают и говорят: «Вам что — сто рублей жалко?» — Я: «Мне не жалко. Мне противно, что в Эрмитаже правят такие сквалыги».

Ездил туда на семинар по выработке понятия идентичности, устроенный в университете на кафедре онтопсихологии (не вполне уяснил, что это за «онто»). Говорильня — с парой интересных участников (Секацкий) и с преобладающими болтунами. Спросил, какой будет результат — публикации, рекомендации властям? Ответ: «Практических результатов не запланировано. Запишем все выступления и будем хранить». Мне дали примерно 15 тысяч, себе — вероятно, больше. Зачем всё это?

В воскресенье отправился с Ваней в Царское Село, но улыбающихся мещанок не видел. Гуляли по чудному парку, говорили о жизни и смерти. Купил там книжку Эжена Сю «Под ударом» в переводе XIX в. за 30 или 50 рублей.



Июня, Москва Японо-посадские кружева

Ну коль уж я тут, то поддался на ласковое понуждение одной особы и отправился в город Павлов Посад. Особе там по деловой надобности побывать потребно было, а мне так — ради прикола. Ибо надобность называлась «Бешеный огурец» и состояла в посещении заключительных торжеств по поводу одного огурца в Музее Платка Павлово-посадского — с кистями.

А там проводил мастер-класс (по набойке персидских шалей) симпатичный молодой перс, то бишь иранец. Разговорились (по-английски). Он говорит, «А вы

откуда? А я, как всегда в таких случаях, ласково улыбаюсь, скромно отвечаю: Из Израиля». (На этом месте стоявшие рядом павловопосадцы испуганно закутались в одноимённые платки). Однако же ни сбрасывания евреев в море, ни превентивной бомбёжки не случилось. Славный персиянин бросился с жаром пожимать мне руку и говорить об общечеловеческих ценностях.

Но это ещё не всё. Он сказал, что в юности собирал тексты Декларации прав человека на разных языках (откуда, видать, и поднабрался), а в Тегеране закончил университет по специальности «японская литература». На это я незамедлительно отозвался: «Со дэс ка?», и далее, к изумлению павловопосадчан, разговор о дружбе иранского и израильского народов пошёл по-японски. (Но далеко не зашёл — всё-таки его там не особо научили, да и мне по-английски проще).

Короче, вот какие огурцы растут теперь в Павловом Посаде.

А что касается платков, то все они почему-то оказались без кистей. А я помню, в Нью-Йорке с кистями покупал. Видно, экспортный вариант.



То в кибитке, то в карете

Карету с канала «Культура» прислали за мной вчерась чёрную, полированную, с тонированными стёклами. Словоохотливый водила не знал, где тут улица Горького, но знал, где мусульманское кладбище (за углом от того места, откуда он меня забирал). С туземным изумлением он уставился на знатного пассажира в моём лице, пристегивавшего ремень безопасности, и сообщил, что он так никогда не делает, потому что ремень ему грудь стягивает. «А если мент остановит?» — «Не, они на это внимание не

обращают». — «А если авария? Ведь помогает». — «Мне вот что помогает», — сказал служащий крупнейшей государственной корпорации в области культуры и показал на болтающуюся на ветровом стекле зелёную металлическую блямбу, на коей извивались жёлтые арабские письмена.

Доехали на час раньше, по случаю отсутствия запланированных пробок, а по достижении вставленного в расписание времени, ещё 50 минут ждали, пока техники не «поймают сигнал в плазму». Щуплый громила на проходной потребовал паспорт, но за неимением одного и при содействии помрежа согласился на университетский ID. Следует признать: изучал он его долго, а ещё дольше выписывал пропуск, но латинские буквы в кириллицу перевёл без ошибок. Чтобы выйти обратно, пропуск полагалось предъявить и сдать, но обошлось и без предъявления и сдачи — он был чем-то занят и на выходящих не смотрел.

А вообще ребятишки в студии были симпатичные и иллюзий на будущее не строившие. Ну-ну, посмотрим.



4 июля, Москва

В субботу — в Переделкине с Леной Р. Обозрели мозаики на Киевской. Сюр советский. У церкви — забор в три раза выше, чем в детстве. Рядом — строительство новой храмины — аляповато-разноцветной с многочисленными куполами — этакий постмодернистский вариант Ивана Блаженного. На кладбище масса новых роскошных памятников чучмекско-пацанского типа, а старые могилы зарастают — как бабина. Чудовищно заросла, даже найти не мог, вся в крапиве и даже маленьких деревцах-клёниках. Несколько лет, видать, не чистили.

Всё повывёргивали с деятельной Леной. Потом пикник на лавочке Дома творчества, потом — в дом Пастернака, потом — в дом Окуджавы, где была читка поэтов из студии «Луч» — Игоря Волгина. Пришли под конец и не слышали Гандлевского, Бунимовича, Быкова; застали на сцене Рейна на печально трясущихся ногах и Надю Рейн — в публице. Потом в кинотеатр «Октябрь» — на фестиваль «Конвой» (Sam Reskinrah) — старый и крутой, и «Пина» (скучновато-танцевальный про Пину Бауш).

На следующий день — большое винопитие у Марка Пекарского.



10 июля

Проснулся необычно рано — с девочкой, премилой ФФ. Вывел и довёл до кафе и весь день готовил макет по «Манга» и отчёт о деятельности за год для СОАСа — удивительно, но изрядно набралось. Потом на встречу с Леной Р. в японское кафе на Гоголевском, откуда были вытребованы в музее водить Вуди Аллена и его корейскую мишпуху.



Читая новости, вспомнил, как летел месяц назад в Лондон. Пассажир в соседнем кресле, увидев у меня книжку на английском, спросил на ломаном языке, не англичанин ли я. Посмотрев на него — лет 30, с брюшком, лысоватый, весь в мятом и бейсболке — я сдержанно ответил, что американец. После секундного остолбенения сосед четко выговорил: «Вай зе американен пипл хейт зе рашен пипл?» Настало время остолбенеть мне. «Who told you this bullshit?» — «Май говермент». — «Oh, you believe your government?» — «Нот мач. Бат ебаут зе американен

ес». Далее он не поверил моим уверениям, что у американцев и прочего мира есть более интересные и насыщенные занятия, чем ненавидеть русский народ, и стал спрашивать, зачем же тогда американцы строят свои военные базы у границ России, если не для того, чтобы её захватить? (Пересказываю своими словами). Ошеломлённый, я спросил, кто он по специальности и где учился. Оказалось, что «лоер» с дипломом «опен университет». «Открытый университет» — это, оказывается, бывший ВЮЗИ — заочный юридический институт для ментов. Потом, как я ни старался уткнуться в книгу, он всё бубнил на тему зачем вы негров линчуете.

А в очереди на паспортный контроль в Хитроу разыгралась вообще феерическая сцена с участием русских патриотов, обиженных Западом (им велели встать в очередь), ну да чёрт с ними.



12 июля, Лондон

«Не следовало есть на ночь коммунистов»

Кажется, был в детстве такой анекдот, в котором из утробы крокодила Гены раздавались крики: «Свободу Луису Корвалану», а Чебурашка его назидал заголовочными бонмотами.

Вот и я, озверев от бесконечного перевода Wade-Giles в pinyin и подбора им японских соответствий со всеми окаянными макронами, устав пляться в уютный Gordon Square с валяющимися на травке девушками, стал читать на ночь новости из России. И приснился мне сон.

Я в Москве, инкогнито, зачем — не знаю, но полный облом, явки провалены. Кто-то (бывшая подружка, кажется) посылает меня к тайному поклоннику (но не моему, а своему). Пузатый, усатый, похохатывающий

мужик принимает меня как родного, говорит, что всё сделает, и предлагает работу. На 200 тыщ рублей в месяц. Но сторожем. Но за 200. А я ужасаюсь, но надуваю щёки, как отец русской демократии, и говорю, что за 250 я бы, пожалуй, рассмотрел. Мужик с жаром уговаривает, и говорит, что главное, начать, а через три месяца будет мне и 250, и ещё кое-что. Я с достоинством соглашаюсь, мужик бурно радуется, хлопает по спине (спина внутри себя горделиво каменеет и тайно напрягается от возмущения), переходит на «ты», кричит, какие, мол, церемонии, мы ж вообще, бля, одногодки, вот мне 41 — а тебе?

Тут спина моя распрямляется ещё горделивее и надувается от самодовольства. Я легко, как лорд в изгнании, киваю и спускаюсь по лестнице. Перед тем, как открыть дверь, оборачиваюсь и говорю что мне-то — чуть побольше, это моему сыну скоро 41. Мужик застывает. Только пузо изумлённо и молча колыхается. А я самодовольно выхожу на улицу и просыпаюсь. За окном — Гордон-сквер. Уф. К чему бы это? Ой, кажется, знаю...



Купил в магазинчике при Институте Курто две открытки и отправил поклонницам — ФФ «Отплытие Улисса» Форда Мэддокса Брауна — он себе отчаливает, а Пенелопа ему платочком машет. И все такие средневеково-романтические. Вложил её в бумажный пакетик от Курто с обнажённой Модильяни — овал лица и губы напомнили. Ужасно, кстати, целовательна.

Полночи заканчивал перевод кручёныховской «Биографии Луны» и примечания, послал Констанции Завадской в Мадрид. Презентацию для Австралии буду делать в самолёте.



15 июля, где-то над Пакистаном,
в самолёте Лондон-Сингапур

«23 часа полёта» — была такая песня советских композиторов. Интересно, куда мог лететь лирический герой того певца с подвывом. Там ещё рифма была: «эскадрилий — любили». А у меня, правда, не полёта, а от двери до двери — но ровно 23 (из коих в воздухе восемнадцать с половиной). Впрочем, не так: к 23 надо прибавить 8, съеденных разницей в часовых поясах — значит, 31 час всего, а в воздухе как раз 23 часа полёта и наберётся.

Взял в дорогу сочинение одного в общем достойного русского писателя, жительствовавшего в Лондоне, — про то, как ему в Англии нравится, несмотря на эмигрантскую неприкаянность, и про трогательную любовь англичан к своему пабу и “warm bear”. Видно, писателю в России сплошь холодные и кусачие попадались, а в Англии медведи тёплые и плюшевые.

И смотрел кино *Annie Hall* — милое, очаровательное, ностальгическое. Интересно, почему я не сказал Вуди Аллену, что я из Нью-Йорка. Кажется, подумал, что многое объяснить придётся. Его корейская штучка крайне несимпатична. Вероятно, этому маленькому еврейскому художнику просто требуется женщина доминирующего типа — как и Кабакову с его вульгарным «соавтором». Те два часа разговоров про французский модернизм были в общем забавным приключением, но, подумал, что этот опыт с Алленом и его выводком мне скорее не понравился, несмотря на все благодарности и рукопожимания.



17 июля, Перт

Вечером в профессорском клубе была симпатичная девица, немка из Флоренции. Оказалось, мы оба стоим в «Мантре», чуть не в соседних номерах. (В «Анни Холл» была уморительная реплика — хиппово-придурочного вида парень говорит по телефону, вероятно, со своим гуру, и заявляет: «Я забыл свою мантру»). Вообще это был забавный опыт светского времяпрепровождения и выпивки и катания на лодке с людьми, которые по идее должны друг друга изрядно недолюбливать.

На следующее утро был совершенно кинематографический тропический ливень. Секретарша Дженни сказала, что на днях была буря с градом величиной с теннисный мяч — множество витражей было побито.

20 июля, Сидней

«Красноглазый монстр», как выражаются местные, перенёс меня среди ночи ещё на четыре тысячи км восточнее — аж на час раньше Японии. Поскольку red eyes предполагались у меня (с недосыпу), лёг поспать. На крыше всё время кто-то мелко топтал. Восстал с одра, основательно отсырев и заколдев. Сажу на минус третьем этаже с видом на ущелье и эвкалипты. Прямо под окном маячил бесстыдно лишённый коры какой-то толстый красный ствол, напоминавший, соответственно, краснозадую обезьяну. А под дверью валялись какие-то склизкие на вид катышки, которые лениво катала бушменская собака. «Опоссум приходил», — пояснил бушмен.



23 июля, Билтин, заповедник

Даже в Синих Горах (или как это? — Blue Mountains), посреде буша нет от них покоя. Из Мадрида пишут: «Срочно пришлите дополнительные комменарии к Кручёных». В частности, про Гилею. Ей богу, лучше б этим пакитам и карменситам не знать, что футуристическая Гилея — это Нулаиа, дремуче-вонючая чаща, в коей из пещеры правила царица-монстрица Ехидна, принудившая забредшего в её края в поисках своих коней (украденных её братом) Геракла — к сексу. Родились Агафирс, Гелон и Скиф — к коему патриотические силы возводят свою родословную («Да, скифы мы...»). Соответственно, и получается, что Бурлюки с Кручёныхами и есть порождения Ехиднины (Мф. 12:34). Забавно.

Но самое забавное, что стал записным переключателем кручёныховских убогостей.



А день начался аж в 7 часов — поехали в буш, выехав из Сиднея, ехали около часу и пошли по тропе к «пагодам» — причудливо выветрившимся скалам, которые неизвестно почему торчали на ровном месте. Залезать на них было чуть страшновато. Мощь вокруг — неопишуемая и нечеловеческая. Вертикальные обрывы, глубочайшие пропасти на дне которых чуть слышно бегущую воду — но ручей не виден под непродираемым кустарником.

Прошли через Туннель Светящихся Червей — в коем не видно абсолютно ничего, кроме (когда погасишь фонарь) тысяч мелких звёздочек вокруг. Ощущаешь себя в открытом космосе среди Млечного Пути. Через триста метров забрезжил свет, вышли в каньон. Приходилось

продираться через узкие дыры или сползать на задку по крутому спуску. В долине видели нескольких кенгуру, перебежавших у нас под носом дорогу.



27 июля, самолёт Сидней-Сингапур

Написал письмецо ФФ из Сиднея, она немедленно ответила, что пошла читать его в кафе, на что я: “Love you reading me”. На что она: “Would you love me loving you?” Вопрос, как говорится, поставил Алису в тупик.

Слушаю в наушниках Renée Geyer, *Why can't we live together?* Именно это я спрашивал себя и Пэтти не раз.

Про Австралию: не уверен, что захочу провести здесь какое-то время. Всё неожиданно дорогое (что почти обесмысливает эту высокую зарплату) и какое-то неотёсанное. Поразительное количество мусульман, один из коих, с крашеной бородой, узрев, что я путаюсь в местных монетах, немедленно нагрел меня на доллар, а другой, узрев, что я из породы сионистов, хамил за прилавком. В газетах то и дело попадались заголовки: «Преступление во имя шариата» — стая арабских подростков 16–18 лет избил соплеменника 31 года за то, что тот выпил вина. В другой заметке бесстрастно рассказывалось, как некий 18-летний Юсуф М. ехал пьяный в такси и, когда пришло время платить, дважды ударил шофёра ножом и прежде, чем убежать, заблевал всю машину.

Был в последний вечер в Опере — давали, и довольно посредственно, на мой вкус, «Мефисто» (\$90), но здание Утзона с близкого расстояния и изнутри того стоило.

Сейчас Рене Джейер поёт *Distant Lover* — прям про меня. Интересно, сколько девушек так обо мне думает?

А я о скольких могу так думать? Пожалуй, лучше не начинать загибать пальцы.

Поменяв самолёты и летя в Лондон, посмотрел в этом нескончаемом перелёте *The World According to Garp* (1982). Помню, как Люся читала — году в 83–84; я почему-то тогда не подхватил. А сейчас, видя соответствующий момент, вспомнил, как она рассказывала, как муж врезался в машину, где жена делала любовнику blowjob — и откусила начисто. Милый фильм с Робинот Уильямсом. Что сейчас больше всего меня в этом фильме поражает — это совершенно другой мир: достатка, комфорта, книг в интерьере. Но главное даже не это, а то, что написал книгу — и сразу идёшь к издателю, тот тебя принимает, читает и тут же издаёт. И нет вокруг абсолютно никаких пришельцев — ни единого азиата, араба, а чёрные мелькнули пару раз вполне пристойно. Это Америка, New England, середины 70-х — героям по тридцать. Совсем другой мир... Именно такую Америку я и представлял себе. Всё кануло бесповоротно. Я опоздал. Размяк после фильма и подумал: может, завести что-нибудь серьёзное с ФФ — детей, например? Ха-ха.



30 июля, Лондон

Ездил в гости к Патриции Рэйлинг в Эссекс. Рыба в испанском ресторане была чересчур жирная. Патриша дала свою новую статью про Родченко и показала материалы новой книги про Экстер. Хочет, чтобы я её как-то продвигал, рецензировал.



Конец августа, Стрелово под Барановичами

Залетел в Москву (поселился у зоопарка), милота с ФФ, поехал с ней на машине в Таллин на японский конгресс — мощная тусовка из 750 японистов со всего мира. Оттуда на юг в Саулкрасты — к Эвелине и Соломону на дачу, где провели два дня и говорили о жизни и смерти, оттуда в Ригу и далее в Вильнюс, откуда отправлял срочное письмо в Киото, поскольку они там потеряли документ с моей подписью. Потом в Белоруссию, и мимо бывших местечек с баснословными названиями — Слоним, Лида, Барановичи — приехали в невообразимую глушь к её другу, немного странному дяденьке, у которого там голубичная ферма.



8 апреля, день в койке, Москва

Приехал вчера из Белых Столбов, с конференции по культурологии, которую устраивал Разлогов. Под конец — неприятный опыт общения с его дочкой Еленой, преподающей в каком-то невеликом канадском университете. «Палестинец, — говорит, — Эдвард Саид» — и всю повторяет его пакостные зады. Нельзя было не сделать реплику, потому как многие в зале знали мою конференцию «Ориентализм», где от Саида и его идиотской теории камня на камне не оставили. Говорю деликатно: «Он вообще-то не палестинец — родился в Египте, да и “палестинского народа” нет в природе». Отвечает канадский профессор новорусского разлива: «Если он так себя называет, значит, палестинец и есть. И палестинский народ есть, ибо открываешь газету — а там написано “палестинский народ”». На такое отве-

чать даже неприлично. К тому ж довольно упёртая девица. Не в папу.

В Белых Столбах, кстати, показывали фильм «Раскол», какую-то серию. Режиссёр Досталь (это его «Облако-рай») представил фильм. Так себе — сплошная политика, и морды у представителей русского народа уж очень страшные — а что они с противниками выделывают! Так вот, где-то в середине просмотра открылась сзади дверь и громко позвучало объявление, что столы накрыты, «товарищеский ужин» можно начинать. «Кто хочет смотреть — сидите. Остальные — идём пировать». И все, за исключением пяти-шести человек, встали и побежали пировать. Потом, в течение пяти минут и все остальные потянулись. Потом встал режиссёр, а вместе с ним и я. Не понимаю...



17 сентября, Нью-Йорк

Ехал на велосипеде на тротуаре, ловко объезжая прохожих, дяденька. Т. е. как бы парень, но толстоватый и серьёзный, лет тридцати и в шляпе и при галстукке. Но в шортах. А в руке держал большой мешок с костюмом из чистки. А в другой руке — ручку чемодана, который волочился за ним на колёсиках. А руль беспечный ездок не держал, поскольку руля вообще не было, а колесо было только одно. Короче, ехал себе дяденька на цирковом моноцикле и радовался жизни. А прохожие на него даже почти и не смотрели. Тут такие на каждом шагу — без руля и без колес; без штанов, но при галстукке. Нью-Йорк, однако.



13 апреля, в поезде между Феррарой и Венецией

Когда был в Лондоне, Н. решила устроить подарок и организовала поездку в Венецию — по своим каналам (по *rip intended*) нашла супердешёвый перелёт (в Римини) и гостиницу. Рейс оказался совковым и встречали по-совковому. В гостинице Giamaica, видно, привыкли к русским и всё обвешали объявлениями, запрещающими есть, пить, ломать мебель, разбивать телевизор и откручивать дверные ручки. Немедленно оттуда уехали в Равенну. На станционном перроне крупно намалёвано: Fascista, SS-88 и ещё что-то в этом духе.



16 апреля, Венеция

Стоим в Канареджо рядом с гетто. Всё упоительно, но чересчур отдраили фасады палаццо на Большом канале, включая Палаццо Дюкале. Очень бледные фасады, хотя кое-где оставлены тёмные пятна. Намеренно? Не следует так сильно очищать — неаутентично. Глупо делать под то время, когда они были свежими и натурально светлыми. Сейчас-то ненатурально. К светлому камню фасадов нужны другие лица, другая толпа. На площади Сан-Марко вспомнил старую свою мысль: архитектура — печальное искусство. Она переживает свою человеческую составляющую. Чужие толпы ходят по улицам, для них не предназначенным.



26 апреля, Лондон

Сидел в библиотеке СОАСа, готовил список иллюстраций для *Zen-Life*, пришло письмо из Киото — утвердили

мою тему, ждут на конференции, просят загодя прислать тезисы. Самое интересное, что я абсолютно не помню, какую тему заявил. Подача у них идёт через их собственный сайт, а копию я себе не сохранил.

Ещё подумал, что пишу ручкой с надписью “University of Bucharest”, хожу с рюкзаком “Tallinn University”, сижу в библиотеке Лондонского университета — нима-ло не принадлежа ничему, хотя, впрочем, в последнем у меня есть карточка сотрудника с профессорской красной полосой. Смешно.

В Британском Музее на днях открылась выставка «Помпеи и Геркуланум: Повседневная жизнь». Благозвучнейшая надпись: “Cacator, cave malum, aut, si contempseris, habeas Jovem iratum” [CIL IV 7716]. — в смысле, не какай тут, а то Юпитера прогневишь. А английский почему-то использует возмутительно гадкое слово “shitter”. Ну куда это годится? Вот эволюция культуры — от царственного какатора к похабному шиттеру.



Вчера в аэропорту Бен-Гурион пожилой таксист насвистывал Второй вальс Шостаковича из Джазовой сюиты. Умилился — подумал, он, наверно, бывший пианист или профессор Московской консерватории — и обратился к нему по-русски. Нет, оказалось, что чистопородный израильтянин — ответил на иврите. Стало быть, настоящий таксист, не поддельный. И зовут его Шломо. А фамилия его Штайнер — наверно, дядя десятиюродный.



Июнь

Сочиняя статейку для каталога русской авангардной графики, заметил, что среди картинок было несколько с изо-

бражением сапогов и вывесок сапожных лавок — Пуни, Розанова, Ларионов и др. Возможно, cum grano salis, предположить, что молодые футуристические бунтари, ниспровергатели классических традиций, таким образом противопоставляли себя пушкинскому Апеллесу — демонстративно встав на позицию сапожника, коему надменный жрец высокого искусства велел судить не выше сапога. Пушкинская тема ведь постоянно присутствовала в коллективном бессознательном футуристов и близких к ним: они бедного А. С. то сбрасывали с парохода, то праздновали над ним — «солнцем русской поэзии» — победу в «Победе над солнцем». Впрочем, я уже как-то рассуждал, правда, не по-нашему, о будетлянской солярофобии и пушкиномахии...

Прочёл тут к случаю у Бенуа: «Русские художники сразу спустятся по прямой линии, пожгут музеи с “Рафаэлями, годными для cartes postales”, и построят музеи-храмы для лубка и вывески». И верно — от лубка они просто все с ума посходили — артель «Сегодня» в 1918 собиралась издать книжку «Детский лубок», а Вера Ермолаева заведовала подотделом городской вывески в ИЗО Наркомпроса и собирала коллекцию для музея вывесок. Хоть музей так и не открылся, но Бенуа зрел в корень.



6 апреля

Был в какой-то модной московской галерее на открытии. Всё сильно навороченное, лакеи в жилетках с шампанским и т. п. А для верхней одежды прикатали длинные вешалки, на которые надо было вешать самостоятельно. Моя юная спутница закопалась с плечиками, взял её куртку, говорю: «Я, как старый гардеробщик, сейчас всё правильно сделаю». Повесил, разворачиваюсь и вижу, что

какая-то молодая особа мне протягивает своё роскошное белое пальто с мягким, как у новорождённого ёжика брюшко, ворсом (у особы физиономия как бы рязанская, а кружева как бы брюссельские). «Возьмите», — говорит. Я говорю, да-да, конечно, готов вам услужить. Прилаживаю на плечики, вешаю, поворачиваюсь к ней, а она: «А номерок?» — «А номерки я в Лондоне оставил, извините», — виновато сказал я, мигом включив акцент. Она посмотрела в тупом изумлении — и не улыбнулась, не засмеялась, не извинилась — посмотрела и молча отошла. В общем, я теперь почётный гардеробщик. Уйду с профессорства, смогу подрабатывать.



22 июля, где-то в Польше

Выехали из Томашува Мазовецкого — куда приехали поздно ночью, найти его уж не чая. Сильно изумил сонную девицу в гостинице своим американским паспортом. Спросил её, тот ли это Томашув, о котором писал Юлиан Тувим, — девица затруднилась ответить. Всегда делается знобка в груди, как вспомнится: «A może byłmy tak, jedyna, // Wpadli na dzień do Tomaszowa?» или «Musimy skończyć naszą dąbną // Rozmowę smutnie nie skończoną». Эва Дэмарчик... Так и сказал ей, изумлённой, — из-за песенки приехали.



В записи программы *Academia* посмотрел (впрочем, больше послушал, ибо смотреть на экран было особенно незачем) лекции зам. директора Пушкинского музея по научной работе и академика Российской академии художеств про художников русского зарубежья. Свелось

к перечислению имён. Интересные выражения: «наши выходцы» — и далее следуют имена: Липшиц, Цадкин, Певзнер, Габо. Да не ваши они выходцы — а от вас. Потому что у вас им ни учиться, ни жить не давали.

Думал, чего интересного про Парижскую школу скажет (кстати, неплохая книга М. Германа была по-русски). Не сказал. Впрочем, может, я не услышал. Лишь сведения, давно существующие в англо- и франкоязычных работах.

Эх, надо бы развить свои идеи о художниках Парижской школы и рождении авангарда, начатые ещё в Манчестере. К сожалению, тогда курсом лекций и кончилось — во многом, кстати, из-за ГМИИ же — когда сдуру, по просьбе Антоновой, стал им каталог переписывать... Жаль. А как плодотворно тогда всё начиналось... На университетском сайте ещё болтается описание:

Leverhulme visiting professor at Manchester 2006–2007,
Professor Evgeny Steiner (New York University).

«Russian Artists in Paris in the Early Twentieth Century: the Politics of Estrangement and the Creation of the Avant-garde», Wednesday, 14 March 2007, Room A 101, Humanities Lime Grove

И про Крамского книжку тогда не написал, из-за японской гравюры, в ГМИИ испорченной. Только пару статей. И время проходит. Чиновные мордovorоты приходят. Вот через две недели будет конференция в Институте Курто про художников русской эмиграции. Целый паноптикум из России позвали — об уцелевших в эмиграции рассуждать и говорить, как они любят «наших художников», которым посчастливилось унести от нас ноги. И меня позвали — в качестве *guest of honour*, но без доклада. Чего-то противно.



Прочёл на одном российском сайте (Artinvestment.ru) список 12-ти самых дорогих русских художников. Только двое из списка умерли в России (и не от хорошей жизни) — Малевич и Кустодиев. Прочие — или никогда, строго говоря, и не жили (Ротко, Сутин, Лемпицка), или её покинули (Кандинский, Явленский, Шагал, Гончарова, Сомов, Кабаков, Баранов-Россинэ).

1 сентября

Узнал, что умер сегодня Плавинский. Прочёл его воспоминания о Тарусе — ироикомиические и местами лирические. Описывал начало шестидесятых, когда жил там — в одном доме со Зверевым и Харитоновым, дружил с Штейнбергами, В. Стацинским, Алёшей Паустовским, коему в 76-м сделал крест, когда тот умер от передоза. Крест этот я видел несколько месяцев назад, когда отправился с ФФ в Тарусу вспомнить былое. Перед этим был там году в восьмидесятом, студентом. Крест Паустовского тогда казался больше. Ныне вокруг много других прибавилось. Совсем свежий — Эдуарда Штейнберга, за неделю до того привезённого из Парижа. Кажется, из перечисленных только Виталий Стацинский и остался, в Париже же. Видел его там лет восемь назад, когда он приходил на мой вечер.

Не знал, что Плавинский вернулся в Москву, — так, думал, и живёт в Нью-Йорке около Вашингтонова моста. Помню, как там жену его Машу встречал, бывшую дотеле женой Паустовского.

А в Тарусе был неожиданный холод, нарастающий, вопреки всем сезонным представлениям, снег, потоки воды на дорогах и доски на кирпичах, чтобы через эти потоки перебираться. Огромная, хорошо отреставрирован-

ная московскими доброхотами-художниками церковь, совершенно пустая, несмотря на главный в ту ночь для русско-православного народа праздник. Мерзость запустения на Пролетарской улице с покосившимися избами, да две просроченные упаковки замороженных эскарго в сельпо.

От первого посещения на заре туманной юности (в компании трёх девушек, к двум из коих питал чувства разной степени возвышенности) остались более поэтические воспоминания. Помню рукописное объявление на заборе: «Продаётся козлик и две козочки. Улица Карла Маркса угол Энгельса». Или не Энгельса, а Володарского. Объявление я бережно снял и какое-то время умилял им гостей, между лафитом и клико. Интересно, куда и когда потерялась эта бумажка? И где сейчас портрет, рисованный с меня Зверевым во дворе Пушкинского музея за три рубля?



Июль, в многочасовой очереди на польско-белорусской границе

Wege und Generationen, oder Drahim ve Dorot.

Проехал с Н. несколько сот км по местным дорогам и дорожкам восточной Германии (как года три назад ездил по западной от Баден-Бадена до Фрайбурга с П. — там было поживописней). Обратило на себя внимание обилие пожилых и просто старых велосипедистов, у множества перемётные сумки с вещами для многодневного путешествия. Стоял с такими в крошечных Gasthoffe, бывало, видел их следующим утром в каком-нибудь храме или музее по соседству. Симпатичные.

Что интересно — молодых (особенно совсем молодых — этак до тридцати), путешествующих таким обра-

зом, было очень мало — и почти никого из молодых в музеях/храмах. Говорят, они вкалывают с утра до вечера, а на велосипеде кататься есть время только у пенсионеров. Не верю. Просто те, кто родился в сороковые-пятидесятые (ну хорошо — до середины шестидесятых) — совсем другие. Дети тех, кто запомнил своё поражение в войне и попытался воспитать детей иначе. Плюс идеалы шестидесятых, рок, хиппи и т. п. А вот у них дети почему-то получились совсем другими...



Пораскидало-то как!

Получил записочку от незнакомой дамы. Просит разрешения опубликовать один мой текст. Дала ссылку, где, — на сайте, посвящённом Мише Генделеву. Дело благое. Посмотрел и про даму. Описывает себя как еврейку монгольского происхождения. Тоже красиво.

А на генделевском сайте в его биографии вычитал такое (в пассаже про культурный вакуум, в котором он жил в восьмидесятые):

«Буквальным спасением стала политическая перестройка в СССР. Постепенно начали налаживаться культурные связи, в Израиль хлынул ручеёк новых иммигрантов, превратившийся к концу десятилетия в бурный поток, появились новые периодические издания, книжные магазины. Новые лица (А. Гольдштейн, Е. Игнатова, А. Бренер, К. Капович, В. Панэ, А. Носик, Д. Кудрявцев, А. Карив, А. Горенко, В. Орёл, Е. Штейнер и многие другие) обогатили литературный ландшафт Иерусалима и Тель-Авива».

И грустно и смешно. Пара имён вполне случайны. Иерархия в перечислении отсутствует ☺ — это почему это Орёл впереди Штейнера залетел? Разве что по алфа-

виту. А вообще интересно, что пятеро (м. б. шестеро — Панэ давно собирался) из одиннадцати — мертвы. Из них двое — через суицид. Двое стали новыми русскими. А в Израиле остался один — Лена Игнатова, да и та русская. Isn't it funny?



Дом с привидениями, или дача в Кратово, зима

А ещё в этом доме кроме скрипучего пола, темных дощатых потолков и разрушающихся статуй в саду есть множество книг в пыльных шкафах — в основном 1940–60-х, но есть и начала века и чуть более поздние. Впервые за десятилетия увидел множество книжек из детских лет. Многие — с авторскими надписями хозяину. От больших поэтов — большому художнику. Вперемежку — его графика. В плохом уже состоянии. Множество альбомов по искусству тех лет — с выцветшими картинками да и вообще дурного качества. Что со всем этим будет через несколько лет? Памятники разрушаются, память — переживает, дай бог, на пару поколений, да и то лишь в засорённых мозгах заблудившихся во времени фриков вроде меня...



Поднимаюсь сегодня по эскалатору и вижу перед собой кеды тряпичные, на резиновом ходу — с мокрыми и белёсыми от реагентов разводами. На дворе — минус 21, снег по колено. Над кедами — шаровары, стянутые над шиколками резиночкой. В прорехе меж штанами и кедами — лодыжки. О, эти розовые хипстерские лодыжки, воспетые фейсбушной прозой, приметливой к идиотизму маленького человека! Подъёмлю взор — над шароварами

у персонажа куцая куртёнка, из-под коей выбивается куфия, платок арабских террористов. На безголовой голове — бейсболка с буквами NYC. На улице, напомним, — русская зима. За спиной у мальчонки — дорогой навороченный рюкзак, коим он едва не мажет меня по носу, елозя в такт наушникам на переполненном эскалаторе. Метро Шаболовская — студент едет в Вышку учиться чему-то продвинутому. Я еду туда же — его учить.

Перед проходной будкой в Вышку — обычная толпа. Внутри в тепле сидит мордатая усатая вохра. Студенты медленно, по одному, просачиваются с мороза, румяные. Передо мной — три девочки, все простоволосые, две из них в легкомысленных, каких-то средиземноморских штанишках, кончающихся в сантиметрах двадцати над уровнем земли, т. е. льда. Из кроссовок торчат те ж лодыжки без намёка на носки. Носы красные, хлопающие.

Вот что это, как не рассогласование с родной природой и её циклами и сезонами? Это ж просто какая-то потеря чувства Blut und Boden! Где исконно-посконные полущубки и полушалки, треухи и плат узорный до бровей?

Мне кажется, что выросло население, неадекватное занимаемой территории. Vaе...



Раскрыл на середине и дочитал до конца сочинение Годунова-Чердынцева о Чернышевском. Каждый раз, возвращаясь к нему, делается всё жалче как-то. Подумал вдруг, что, в сущности, это блистательная и жестокая шалость талантливого молодого человека. (Ну, Набокову-то было уже 38 — последний приступ молодости, как называли эту цифру два раннесоветских автора, но его Годунову-Чердынцеву, насколько помню, 26–28.) Когда мне было столько же, я сочинил искусствоведческую

монографию про Крамского (начал как социальный заказ — кучу денег обещали, да увлёкся и такое наката, что анонимный внутренний рецензент написал, что молодой и безответственный автор полил грязью знамя передвижничества). На дворе стоял 1983 — Брежнев уже помер, а Андропов — ещё нет. Я был страшно собою горд; про пропавшие денежки (поболее годовой зарплаты) с лёгким сердцем забыл и всем приятелям давал почитать свой роман «в духе Годунова-Чердынцева». Потом на многие годы про него забыл, а не так давно вытащил, вошёл снова в тему и напечатал из него три статейки, одну по-русски, а две по-английски. И снова подмывает книжку сделать — было б время. Но вот что подумал в какой-то момент: что Чернышевский, что Крамской — оба равно бесталанные, крикливые, склочные, занудные, смешные — но как-то жалко их обоих. Хотя внешне судьбы весьма разные: один в Сибири отрубил полжизни ни за хрен собачий, а другой всюю против властей интриговал, но кончил богатеньким придворным художником, — но оба были мученики: один бесконечных неудобочитаемых и никому не нужных переводов, другой — бесконечных заказных портретов, в коих редко блеснёт мазок — и ещё реже талант. Жалко обоих. Или это я на старости лет размяк? Вроде нет — в новейших статьях разодрал «знамя передвижничества» (т. е. Крамского) в клочки. Но всё равно жалко. Как всякую нескладную, бесталанную трагическую судьбу. Интересно, как бы Набоков написал это лет в 50–60? Впрочем, он всегда был едкой злоюкой. Жестокий талант, ги-гы.

Но вот что позабавило: в рецензии придуманного им же газетного придурка, Набоков вкладывает ему в извергающее отверстие следующее: «Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским... Он вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные сентенции, вроде “Поэт сам избирает предметы для

своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением»». Смешно. (Кстати, сам Набоков, читателям не слишком доверяя, в тексте книги пишет, что это из «Египетских ночей»). Мне напомнило это историю из того же времени, хотя, кажется, это был год 85 — самое начало перестройки. В качестве редактора «Искусства» я готовил к изданию книжку Г. С. Кнабе про Древний Рим и подбирал к ней картинки (что, строго говоря, в мои обязанности не входило, но хотелось порадовать) и придумывал к ним подписи. К одной, мозаике с изображением лодки с рулевым, написал, что это-де римская лодка с кормщиком (любил по молодости лет повыпендриваться старинными словечками). Автор, почтеннейший профессор, интеллигентно улыбаясь, попросил «кормщика» заменить на «кормчего», ибо кормщик-де — какое-то не такое, «не далевское слово». Я изумился и уж было разинул рот, чтобы сказать: «Зато пушкинское», но за малолетством постеснялся и безропотно нерусско-недалевского кормщика истребил. Вообще, мы с ним как бы дружили (с Кнабе, а не с Далем) и в гости друг к другу ходили. А потом, когда много лет спустя вышла у меня первая в постсоветской стране книжка и обсуждалось устройство вечера (забыл, какое слово по-русски — book launch), я сказал ИП, давайте-де я старых друзей позову слова говорить — титаны духа, прорабы перестройки: Баткин, Кнабе... — она сказала, что, знаете, это из другого времени люди, не стоит, чтобы и книгу, и вас с ними ассоциировали... (Смысл передал своими словами). Как всё печально меняется... Помню, как с огорчительным изумлением вычитал мемуар Кнабе о его борьбе за издание той самой книжки и о советском редакторе, который осуществлял советскую цензуру. Детали восхитительные, ну да ладно. Старцу девяносто лет.

27 сентября, Норчептинг, под Стокгольмом
Tristia post lectionem, или Брюзжанье

Отчитал свою норму на сегодня. За что был многократно хвалим немолодыми академическими девушками и прочими. Но что-то удовлетворения нет, всё это сборище плохо говорящих по-английски людей раздражает. Впрочем, хорошо говорящие американцы тоже. Ибо говорить-то они говорят, но плохо выглядят: мятые, абы как, т. е. безвкусно, одетые. Или несут чушь на общие темы, или бубнят по бумажке мельчайшие подробности про малозначащую фигню. Ни обобщенья, ни полёта, никакого esprit... При этом многие постоянно на меня ссылались и цитировали. Трое (!) притащили мою старую книжку про авангард, чтобы я её надписал. ☺ Но вместо того, чтобы почувствовать себя живым классиком, ощутил полнейшим маргиналом.

Из записей умных речей (точнее, из-за их отсутствия как раз) во время заседания:

«Тяжёлое крестьянское лицо особы из Черногории — скорее молодая, чем старая, но девицей назвать трудно. Деревенская молодуха с косами, уложенными на макушке, с неулыбчивыми тонкими губами и бойкой болтовнёй с тяжёлым славянским акцентом».

А ведь мне Черногория с детства была симпатична, с «Черногорцы? что такое? Бонапарте спросил...» Недавно, профессор, приехавший оттуда, угощал отменным вином Вранац, пахучим и терпким, чернильным цветом напомнившим краску для вымачивания византийской порфиры.

Всё это лишний раз доказывает, что воображение (настоянное на литературе и вине) намного приятнее живых аборигенов, особенно ежели они представлены некрасивыми девушками.

30 сентября, Стокгольм

Разговорился в ресторане с милой датчанкой Ниной (и впрямь милая — в отличие от большинства учёных дам-искусствоведов, которые почему-то навешивают на себя безвкусные одёжки и непривлекательные выражения физиономий). Испытав лёгкое головокружение от перечисления (краткого и выборочного) списка моих перамбуляций и peregrинажа, она с восхищением и ужасом вздохнула и воскликнула: «Как я вас понимаю! Мне вот тоже приходится в последний год ездить на три дня в неделю в другой датский университет за триста километров. Всё чужое, ничего знакомого...»

Европа, Европа... Маленькая, миленькая, провинциальная... запуганная. Вчера, накануне суккота, двухметровые белобрысые шведки в полицейской форме испуганно остановили меня, едва я вошёл (случайно) в уличку с синогой. Еврейского профессора они не отличают от арабского террориста. Что в Стокгольме, что в Амстердаме... А вокруг толстое разноцветное месиво. Еигора, Еигора...



12 октября, в самолёте Нью-Йорк—Брюссель

В течение многих лет моё едва ли не самое приватное место, где можно спокойно сидеть и думать, — это самолёты. Во всех других местах я не очень-то этим местам принадлежу, да и не имею достаточно времени или храбрости просто сесть и задуматься. А здесь вполне себе сижку — в пустом пространстве, задвинутый и пристёгнутый и влекомый откуда-то и куда-то. И фильмы смотрю. Иногда даже не дурацкие. Дня два назад вспомнил было какую-то мелодию — «та-та-та-та-та-та» — всё крутилась в голове. Какой-то французский поп. И тут, в самолёте стукнуло,

что это Франсис Ле — тема из фильма “Love Story” (1970). Герой хотел привезти подружку в Париж — too late. Забавно — Пэтти давно и прочно одна в Париже, а ко мне в Нью-Йорк приезжала Нэтти, с которой провёл две весьма интенсивные недели. Вчера ходили в бистро «Касси» на Коламбас-авеню. Эскарго и патэ бургиньон с неплохим бордо. А в настоящем Касси с Пэтти мне запомнилось вино из Бержерака. Ну вот — своротил на воспоминания вин и подружек, а сокровенные самолётные мысли все выветрились. Впрочем, всё это сокровенное плохо ложится на бумагу — особенно такую нежно-бежевую, в чёрную кожу переплетённую, в *Barnes & Noble*, что на Бродвее и 82-й, рядом с домом, где мы стояли, купленную.



Шёл я по улице незнакомой, а когда-то знакомой до слёз... и вдруг увидел под ногами надпись (реклама на асфальте): «Сбываем мечты». И телефон. Во, подумал, мне бы кто-нибудь сбыл — по сходной цене. А впрочем, мы за ценой не постоим. И полез было телефончик записывать. А потом подумал — о сбывании каких же это мечт я буду просить? Задумался и понял, что мечты у меня примерно как у Шуры Балаганова, которому для полного счастья надо было то ли 150, то ли 6 тысяч рублей. И боком от пункта сбывчи мечт дальше пошёл...



April 26
Бывают в жизни встречи

Some years ago (four, I guess) I was doing some reading in the library of the Warburg Institute. It was pretty empty all the time, and I liked to chat with a librarian, a girl around

thirty with gorgeous golden hair. Перейду-ка я на русский, пожалуй, (или скорее на киргизский, поколику печатаю с офисного компьютера в СОАСе, где кириллица есть для средне-азиатских языков, а русский тут слишком западный).

И вот златоволосая красавица в венецианском (и совершенно в аби-варбургском) стиле — нос с горбинкой, томительная смесь худобы с пышностью и обволакивающей мягкости с фин-де-сьекельной стервозностью — зацепила меня не на шутку. Через две недели понадобилось мне ехать надолго в Берлин, и в последний день, хоть все книжки я там уже прочитал (их было мало по моей теме), решил зайти и как-нибудь этак поговорить с закидонами. И вот стою себе на светофоре на углу Tavistock Place and Gordon Square and сочиняю, что бы это такое ей сказать, чтобы произвело немедленный эффект и вообще. И тут — lo and behold — подходит к переходу она сама, вся златоволосая и светящаяся в лучах солнца. Устремляется без остановки на красный свет и жуёт при этом довольно незелегантно преогромный сэндвич. Я было рванул за нею и чуть не попал под машину. Остановился и задумался. Бежать догонять — как-то смешно. Да и прекрасный венецианский лик, наполненный вульгарным сэндвичем, как-то не столь привлекательным показался. Короче, когда зажётся зелёный свет, я постоял-постоял, да и пошёл в другую сторону.

И вот вчера — на том же перекрёстке, стою, жду сигнала, её вспоминаю, умильно улыбаясь на солнышке. И тут — она. С тем же сэндвичем. Глянула на меня, не узнав. А я состроил светскую полуулыбку и отвернулся. Так роман и не состоялся. Наверно, в этом и заключается главная его прелесть.



Слушал всё утро диск «Мелочь» Тома Уэйтса:

And it's a battered old suitcase to a hotel someplace
And a wound that will never heal.

«Блюз Тома Тауберта, или Вальсируя с Матильдой». Когда я купил ту пластинку? — году в 1992, в Санта-Монике. Где она теперь? — Кажется, осталась где-то, у кого-то.



Леонард Коэн говорил о своей песне *I tried to leave you*:
“This is the song written out of... my wrinkles, my weakness,
and my failures called "Je voulais te quitter””.



Читаю книжку Коваленского и вижу:

вдруг косач затосковал..
Всё в окно смотрел — на зелень,
а утрами токовал —
опустивши крылья низко,
хвост трубою распушив,
ворковал, шипел, чуфыскал,
как в родной своей глуши..

Вот и я, оказавшись в родной (so to say) своей глуши, то хвост распушу (если есть перед кем), то воркую (когда есть с кем), то шиплю (всегда есть на кого), а то плюну на всё и сижу себе просто и чуфыскаю..



October 4, Kyoto

Заходил с визитом в Синдзюан. Сосё-осё рассказал, что Собин-осё собирался жить до 88 (он и сам мне это говорил, в смысле, что не доживёт до выхода моей книжки), но протянул до 89. Болел, умер в больнице. Хотел было за час до сесть в лотос — не сумел. Слаб был. Так, лёжа в больничной койке, и отошёл. Спросил, не написал ли он *юигэ* — «посмертную песнь», как порядочному монаху былых времён полагалось. — Нет, не написал.

И что же — достойнейший человек, монах, в монастыре жил с пяти лет, как Иккю. Книжки писал. А с кем сравнить? — Вот Дайто-кокуси, например, так тот ревматическую ногу, которая сгибаться не хотела, сломал, чтобы в лотос сесть и стих продекламировал — после чего отошёл с достоинством. А нынче? Это ли не умаление дхармы в наш век — настоящий *матто*. И Сосё такой кругленький, в спортивной курточке и чуть ли не адидасовских шароварах — наследник дхармы Иккю в 27 поколении...



Мне издавна снились рукописные тексты, иной раз своя собственная рука, которая водила пером по бумаге. Проснусь — ничего не помню. Разве что оттенок бумаги и цвет чернил, а слова — нет. А тут проснулся от какого-то толчка и зацепил уплывающую в подсознание сценку: с некоей девочкой сидим, склонив головы над большой тетрадкой, и читаем, болтая ногами, длинные столбцы. А на последней незаконченной странице написано:

Я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь.
Я питаюсь, питаюсь, питаюсь.

Есть остатки вина на столе.
Стихотворная жизнь в октябре.

Или в феврале (тогда, кажется, принято доставать чернил). Или иллюзорная, а не стихотворная. И, помню, во сне спросил эту девочку с длинными прямыми волосами, лица коей не помню, кто ж это такое сочинил? На что она: «Ты и сочинил!» Прямо как Порфирий Петрович пригвоздила...



November 1

Most perniciously, cheating can become self-reinforcing. When we cheat, we have a tendency to rationalize the behavior. We can't change the past, so we change our attitude and justify our actions. But that adjustment, while it may make us feel better, also makes us more likely to cheat again: we cheat, we rationalize it, we accept it, and we cheat once more. Recent research from Harvard University suggests that, in both hypothetical scenarios and real-world tasks, people who behave dishonestly are more likely to become morally disengaged from their environment and to forget moral rules, such as honor codes. Cheating, it seems, can cause a self-justifying temporary block on ethical information. (Maria Konnikova, *The New Yorker*)



13 ноября

Проснулся оттого, что мучительно пытался вспомнить одну важную строчку Фихте по-немецки. Напрягался, пока не вспомнил, что я Фихте и по-русски не читал.



22 ноября

Собирался залезть в ванну, как вдруг прочёл: «Робинзон, который осознаёт, что ему надо жить и каждый день осмысливать это бытие, вдруг понимает, что жить он не может, а каждый текущий день нужно как-то провести. Тогда он находит болото с тёплой жижей, погружается в него и проводит там почти всё время, впадая почти в анабиоз».

Похоже — несмотря на то, что постоянно приходится что-то умное писать и править, читать лекции и утешать девушек трудной судьбы.



13 декабря

Читал про себя любимого (разговор с Сашей Чанцевым) на Часкоре, где бываю весьма редко, и отвлёкся на анонсы на полях. Первая статейка была про одиночество. Прочёл. А чё — ничего. Вот и я, отдуев последнюю в этом году лекцию про «Гэндзи-моноготари», отправился в магазин и купил себе на маленький пир. Раньше бывало — что-нибудь купишь, приготовишь — и одному жалко такое роскошество уничтожать, звонишь кому-нибудь:

«Приходите, тараканы, я вас чаем угощу». А щас всё возьму и сам съем.



9 марта

«Если вы считаете, что кто-то будет вами заниматься через 100 лет, через контексты что-то про вас восстановит, вспомнит, узнает, мне кажется, вы заблуждаетесь. Этот человек будет заниматься в основном собой, а вы будете лишь подспорьем для него в его собственной стратегии понимания жизни». (М. Ямпольский). Разумеется. Помню, как копаясь в текстах Иккю, и зверея от необходимости погружаться в головоломные детали, менее интересные мне, нежели другие, я писал, что вся эта японистика — это странный, изгибистый, трудоёмкий и в чём-то патологический способ самореализации. Тому уж, поди, лет тридцать как... А всё копаюсь.



13 марта

Помню, ещё в детстве босоногом поразили меня слова в задушевно-лирической песенке из всенародно любимого мультика:

Если вы обидели кого-то зря,
Календарь закроет этот лист.
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, поддай-ка жару, машинист!

Т. е. это что же получается, тшился я понять своим детским умишком: кого-то мы обидели несправедливо, но чего огорчаться долго — завтра новый чистый день, и пора спешить к новым приключениям — т. е. кого-то нового обидеть??? Мне была понятнее формула «убегая от обид и от тоски...» А тут интересный извод изведения душевного дискомфорта — убегание не от обид, а от обиженного. Наверно, с такими установками легче жить и путешествовать по регионам и бескрайним просторам родины, но только я и сейчас не понимаю такой жизненной философии. Которую вижу довольно часто у взрослых на любви к таким песенкам и бескрайним просторам — куда всегда можно отвалить, чтобы найти новое — вместо загаженного тобою старого.



19 марта

Вернулся... т. ск., домой, в Москву, т. е., приехал. Соскучился, открыл фб. А там — политика-паника-Крым-война — интеллигенция хохмит и протестует — права человека... La Nausee. Ну какие у человека могут быть права? Разве что умереть непостыдно и быть похороненным, да и это проблематично. Merde.



20 марта. Читаю «Тошноту»

«...и называлось “Смерть холостяка”. Картина была получена в дар от государства.

Гольй до пояса, с зеленоватым, как это и положено мертвецу, торсом, холостяк лежал на смя-

той постели. Скомканые простыни и одеяла свидетельствовали о долгой агонии. На полотне служанка, прислуга-любовница, с чертами, отмеченными пороком, уже открывала ящик комода, пересчитывая в нём деньги. В открытую дверь видно было, что в полумраке поджидает мужчина в фуражке, с приклеенной к нижней губе сигаретой...»



20 апреля

Может быть, умру я в Ницце,
Может быть, умру в Париже,
Может быть, в моей стране.
Для чего же о странице
Неизбежной, чёрно-рыжей
Постоянно думать мне!

В голубом дыханьи моря,
В ледяных стаканах пива
(Тех, что мы сейчас допьём) —
Пена счастья — волны горя,
Над могилами крапива,
Штора на окне твоём.
Вот её колышет воздух
И из комнаты уносит
Наше зыбкое тепло,
То, что растворится в звёздах,
То, о чём никто не спросит,
То, что было и прошло.



21 марта

Она увидела меня в зале и, по окончании, сошла со сцены, подошла и протянула руку: «Спасибо, что пришёл». Машинально я пожал её руку и мгновение спустя понял, что, нет, следовало спрятать свою за спиной и сказать угрюмо: «Я не хочу твою руку. I need you all — or nothing at all».



Получил смс с неизвестного номера: «Мне починили душ. Приходи на ужин». Боюсь понять.



“If you go home with somebody, and they don't have books, don't fuck 'em! Don't sleep with people who don't read!” — John Waters.

А я вот недавно побывал в одном доме с изысканным евроремонтом (так это тут называется). Из книг — исключительно лишь Большая Советская Энциклопедия, декоративно заполнившая собой две полки под потолком. Это считается? Т. е. спать или не спать?

2 апреля. Подслушано в трамвае маршрута 26.
Двое молодых людей:

— Видел, кстати, на открытии Иришу. Знаешь, я всё по ней сохну.

— Да? А ты говорил, что новую себе завёл, как её — которая с богатым телом.

— Да, с богатым. Только, знаешь, у меня на неё не стоит. Т. е. стоит, конечно, но только технически.



19 апреля

Чем же плохо тебе? Чем ты несчастлив?
Нету пота в тебе и нету слези,
Нет слюны и в носу соплей зловредных, —
Чище чистого ты...
Научись же ценить такое счастье...

(Катулл в пер. С. Шервинского)

25 апреля 2014

Со всех сторон пишут — к войне дело идёт. То ли с бандеровцами, то ли с уралвагонзаводом, то ли с пиндосами... А у меня своя вялотекущая катастрофа. Оголодал и обленился. На ужин ничего нет, кроме куска стилтона за 2950 руб кило, да банки горошка зелёного «Нежный» за 31 рубль, да суздальской медовухи марки «Казачья» из города Кимры за 150 литр, да залежалой мацы (кто принёс не помню). А на сладкое — трюфели, обсыпанные морской солью, подарок одного еврогея из Лондона.



Давно заметил: т. н. «правые» и охранители мне чаще всего неприятны, но иной раз высказывают здравые мысли; т. н. «левые» или всякие креаклы-прогрессисты-гуманисты как бы должны быть симпатичны по исходным данным, но часто такие глупые, слепые, нетворческие, начётчи-

ки «демократических» дацзыбао — противны, короче. Грусть-тоска... Непосредственным поводом для высказывания явилась подборка из Розанова (поклонником коего нимаю не являюсь, но здесь прав ведь). Наверно, тоскую по просвещённому абсолютизму.



19 мая

В самолёте сзади сидели русские ребяташки. Девочка говорит: «Я с тобой не ссорилась». Парень молчит надутый. Она: «Давай помиримся». Молчанье. Она: «Ну давай!». Молчанье. Через несколько секунд — чмоканье и довольное урчание.

Через несколько минут девочка (начало я пропустил): «А я в твои смски не лезу. А ты лезешь и потом обижаешься». Он невнятно бурчит. Она: «Я вообще так устала... Четыре года эта хуйня, эти отношения...»

Ещё через несколько минут оба на ломаном английском, хором прихихикивая от недостатка слов, светски объясняют соседу-американцу, что летят в отпуск во Флориду.



10 июля

Мамардашвили в одной из последних лекций, рассказывая об Австрии конца века, сделал детур в сторону Грузии — эх...

«У меня всегда было ощущение одного таланта, собственного пространству, в котором я родился и вырос. Я бы назвал это талантом жизни или талантом незаконной радости. Я ощущал его в людях, меня окружающих, в воз-

духе и в себе это ощущал, правда, упрекая себя нередко в некоторой тяжеловесности по сравнению с моими земляками. Радость же наша была именно лёгкой и воистину незаконной: вот нет, казалось бы, никаких причин, чтобы радоваться, а мы устраиваем радостный пир из ничего. И вот эта незаконная радость вопреки всему есть нота того пространства, в котором я родился. Это особого рода трагизм, который содержит в себе абсолютный формальный запрет отягощать других, окружающих, своей трагедией: ведь они не виноваты в том, что у меня, скажем, неприятности. Есть абсолютный запрет на обсуждение этого вслух, на размазывание, на превращение во взаимный суд своих отношений с другими и уж, во всяком случае, — запрет на навязывание своего трагического состояния другим. Перед другими ты должен представлять весёлым, лёгким, осенённым вот этой незаконной радостью. Звенящая нота радости, как вызов судьбе и беде: отнять такую радость действительно трудно, невозможно».



19 июля
LONG AFTER LOVE

Это блестящее название для неосуществлённой постановки пьесы Мисима в Нью-Йорке. По-русски так сказать невозможно. Только почувствовать.



15 июля

Видел фото пострадавших в метро — в крови, в бинтах. Почти все разговаривали по телефону. Это и впечатлило.



Попался ночью старый гарик:

Такой уже ты дряхлый и больной,
трясёшься, как разбитая телега —
на что ты копишь деньги, старый Ной?
— На глупости. На доски для ковчега.

А под утро приснилось, что его склад с досками сгорел.



30 августа

В чистом городе Сиракузы отсутствуют граффити. Только одна табличка с названием улицы замазана зелёной (!) краской — *Via della Giudessa. Merde.* От старого еврейского квартала — одно название. Слоняются негры да арабы.

В главном соборе города — скульптура девы Марии с младенцем на руках стоит между дорическими колоннами храма Афины (IV в. до н. э.) Забавно: в греческом языческом храме стоит идол еврейской матери и её ребёнка, которым поклоняются уничтожившие греков и презревшие Афины потомки сикулов и прочих италийцев и последующих варваров-германцев. Но им на смену приходят арабы да негры. Одни будут резать туземцев, забывших своего иудео-христианского бога, как ранее они забыли Афины и прочих своих древних богов, а другие будут их в алтаре жарить и кушать.



15 октября

Получил письмо от поклонницы с философским образованием, где она называет мои писания (не научные, а как бы художественные) персонализмом.

Ага. Персонализм — вот как это называется в различных выражениях! А то одна моя знакомая девочка когда-то говаривала, что у меня постоянная эрекция эго.



20 октября

В Мелихове я был 15- или 16-летним школьником — страшно даже молвить сколько лет назад. И вот каким-то непонятным образом злой мотор повлёк меня туда сегодня. Впрочем, не злой, это я так, для красного словца...

То, что помнилось мне усадьбой, предстало ныне маленьким домиком с крошечными комнатами и бытом, колеблющимся между небогатым и аскетичным. Истинно интеллигентская дача в противоположность барской усадьбе. Обилие уныло-честных фотографий, скудная мебель никакого стиля. Но в целом — всё неизъяснимо милое, трогательно-блёклое, сдержанно-скромное — что и образует свой особый грустно-чеховский стиль — то ли светлые сумерки, то ли сереющий рассвет перед буйно-несдержанными денницами да фиолетовыми закатами подступавшего модерна. Едва ль не более всего поразили узкие железные кровати, на коих, вероятно, спать было страшно-вато. Впрочем, более широкие в тех спальнях и не поместились бы. В юные годы я был на сантиметр выше (уместнее, пожалуй, сказать, длиннее) Антона Павловича. Потом каким-то образом мы с ним сравнялись,

а тут, подойдя давеча к его изображению, я понял, что давно и бесповоротно скукожился.



20 октября

Read this CFP. Quite enticing. And the name of the journal is rather telling: *Kapsula*. For those encapsulated in their feelings of loss & longing, perhaps.

“The feeling of longing is dependent on the feeling that something is missing. It is a traumatic indicator of an acquired lack. When vacancy becomes a bodily experience that feels anything but vacuous, we assign the term “longing” to negotiate the contradiction—empty can sometimes take up so much space. But the acquisition of lack is, in itself, a contradictory turn of phrase. What does it mean to gain and lose simultaneously? The scope of the word expands when considering “longing” as an abstract, often unseeable, exchange. Much more than a desire to find whatever is missing, longing functions as a state of being, a phenomenology that can’t always be remedied. The corporeality of longing is matched then by a psychological conditioning that is sometimes, if not consistently, out of one’s control”.



22 декабря

“Yet really, apart from the sense of irretrievable loss, there was nothing wrong at all.” Well said.



Ware ari to
Omou kokoro wo
Sute yo tada
Mi no uki kumo no
Kaze ni makasete

То, что мы живём,
мысли и чувства эти
нужно отбросить.
Ты лишь гонимое облако
Доверься ветру

(Из «Песен о Пути»)

Иккю, конечно, мне люб. Но легко сказать «доверься»! К тому ж ветру нет дела — доверился ты или нет — знай себе гонит. Впрочем, пожалуй, этот назидательный стишок можно свести к ёмкой формуле: «Расслабься и постарайся получить удовольствие».



Read in Walter Benjamin

«Моё желание — вволю поспать. Должно быть, я загадывал его тысячи и тысячи раз, ибо со временем оно таки исполнилось. Но немало воды утекло, прежде чем я понял: оно исполнилось потому, что мои надежды найти постоянную работу и верный кусок хлеба всегда оказывались тщетными».



27 декабря

В не по чину барственной шубе

Вчера в университетской раздевалке гардеробщица взяла номерок, принесла мою дублёнку, посмотрела на меня и сказала: «А это ваше?» На что я смиренно: «Я, по-вашему, недостаточно гламурен для этой шубы?». На что тётка: «Да она какая-то слишком пышная». На что я: «Да, немного пышная, пожалуй, но, знаете,

это всё-таки моя — и номерок сходится, и в карманах мои чёрные перчатки». На что тётка, уже вошедшая в следственно-недоверчивый раж: «Мало ли у кого-то там чёрные перчатки!» На что я: «А ещё в левом кармане есть вишнёвый носовой платок с зелёными соплями: хотите — разверните». Образовавшаяся к тому времени сзади стайка студентов восторженно взывала. Тётка решила сдаться и лишь возмущённо молвила: «Небось, профессор, а такие слова озвучиваете».

И вот я, облачившись в отбитую в сомнительной словесной баталии шубу, повлёкся прочь, путаясь в долгих полах, сквозь заносы и турусы, и подумал: «Ну какой из меня профессор! Просто непарнокопытный Парнок, уже без рубашек, или Акакий Акакиевич, в ещё не до конца снятой шубе».



Люблю фотографии отражений в стекле — видно неясно, не сразу и разглядишь. И вот глядя на одну такую, где я с подружкой в виде полупрозрачных силуэтов, подумал с налёту, что это не она, а другая. Последовал толчок адреналина. А потом сообразил, что я с ней, в смысле, другой, уже несколько лет на фото не появляюсь.



Давно, года три после окончания университета, я встречал Новый Год в большой компании, где было несколько приятелей, и сколько-то полужнакомых и незнакомых вовсе. За весёлым столом моя тогдашняя подруга, хорошо знавшая почти всех, нашёптывала мне кто есть кто, мешая одобрение с язвительностью, по манере тех лет и возраста. «А вот это, — страшным шёпотом прошеле-

стела она, театрально указуя бровями на девицу, сидевшую наискосок, — бывшая жена Л., она от него сбежала и вообще блядища, а кроме того, она чем-то таким больна и скоро умрёт». Девица была любимого мною тогда типа стервозной еврейки: тощая, бледная, с жгучей неухоженной копной.

Спустя несколько часов, когда все всё выпили, съели, наплясались и разбрелись кто блевать в сугроб, кто обжиматься по углам или спорить о методологии, я стал бродить по необычно огромной для тех лет квартире. Кажется, это даже была не квартира, а дом — старый двухэтажный и выселенный, где перед его разрушением обрзовался, с разрешения ЖЭКа, сквот дворников и гениев. И войдя в одну комнату, я увидел на диване её — вот только в этот момент, когда пишу, вспомнил её фамилию, имени не помню, все называли её по фамилии, смешной и напыщенной для русского уха одновременно. Лицо её было пугающе бледное — много бледнее обычной белокожести, а ногти на пальцах одной видной мне руки были чёрные. Не с чёрным лаком, о котором тогда, кажется, и не слыхивали, а просто чёрно-сизоватые; два или три — с полосками пластыря. Она сидела неподвижно с закрытыми глазами, и из глаз текли слёзы.

Я замер на пороге с приподнятой ногой и полуразинутым для светской умности ртом. Постоял несколько секунд, враз испугавшись продвинуться. Она не раскрыла глаз, но веки её дрогнули, она слышала, что кто-то вошёл. А я совсем потерялся, смутился и тихонько вышел. Почему? — Кажется, у меня в понятиях было, что если кто-то не в форме и уединился, плача, надо это деликатно не заметить. А ещё, наверно, совершенно не знал, что делать с молодой девушкой, которая встречает Новый Год, но скорее всего в нём же и умрёт.

Эта сцена вспоминается мне всё чаще и с каждым разом жжёт всё больше, иной раз до слёз, что не подо-

шёл к ней, не обнял, не взял за белые пальцы в кольцах лейкопластыря.

Больше я её никогда не видел, но слышал, что она действительно умерла, правда, не в тот наступивший год, а в начале следующего. Был ли кто с ней рядом, не знаю.



3 января

По кладбищу гуляли мы...

Странно — обычно кладбища только растут (и могильщики на участке Чуковских, коих мы застали, тому подтверждение), но на этот раз оно показалось мне сильно меньше помнившегося с детства. Проскочили Пастернака и сразу вышли к бабе, которая ближе к Сетуни, на верху склона. Вся в сорняках и со стёршимися буквами на сером граните. Вспоминаю, как летом 75-го ставили ей памятник своими силами (или подправляли криво осевший после установки работягами, не помню) — поддали за упокой любимой бабушки (другая умерла до моего рождения и покоится в Востряково), и я потащил старшего брата и весёлого молодого дядюшку поклониться Пастернаку. Был я тогда совсем мальчонкой, даже в университет не успел поступить. В общем, продрался с шумом (я первый) сквозь кусты по прямой и вылезли прямо к пастернаковой площадке, где перед камнем на лавочке сидел бледный филологический юноша и заунывно читал стихи двум барышням. Появление перемазанного в глине и с обнажённым мощным торсом (это я про себя) копателя поэтическую компанию сразу напрягло. Чтение стихов смолкло, и юноша как-то застыл. Я уже было собрался извиниться за неподобающее вторжение, но меня осенило, что столичные визитёры

приняли меня и мою подоспевшую бригаду за местных мужиков и хулиганов, которые их сейчас будут бить или как минимум грабить. Это — что меня приняли (в первый и последний раз, увы) за грозного хулигана — так развеселило, что я расхохотался, выкатил грудь и распушил бицепсы. Барышни подхватили бледного юношу и ретировались напрямки через могилку Голосовкера под мою декламацию «Гул затих, я вышел на подмости...»

А сегодня зашли на дачу Пастернака. Она была по случаю понедельника закрыта, но за истекшие сроки лет я успел стать британским профессором и приобрёл соответствующую визитную карточку и акцент. Под него — я артикулировал очень старательно, как я летел специально из Лондона (что отчасти правда) — нас пустили и показали всё-все-все, включая туалет типа сортир.

Да, а согривались мы с И. на кладбище фляжкой, на коей было написано «Коньяк Кенигсбергский».



22 января, в больнице

Распахивается дверь палаты, входит ядрёная телица-сестрица и заученным речитативом объявляет: «Так, в понедельник будет административный обход. Чтоб сапоги под кроватью не стояли, штаны чтоб только пижамные, а из холодильника всё подьеть». Потом вздыхает и почти задушевно: «А то нас будут за вас натягивать». Сосед по палате, щуплый парнишка лет 20–22, насквозь пропахший сигаретами «Прима», говорит уважительно: «Дааа, конкретный шмон будет». Сестра: «Да. А нас за вас, если не подготовитесь, конкретно натянут».

Если бы гражданственный пепел стучал мне в сердце, то я б, наверно, написал статью «“Шмонать и натягивать” как ур-феномен российской жизни». Или лучше «как эпифеномен»? — Нет, лучше «как эпифания российской государственности».



Сидя в больничной очереди — разговор по телефону: «Умирая, Алексей Фёдорович завещал Сергею Сергеевичу...» Я про себя продолжил: «Высоко нести знамя античной эстетики». Кстати, третьего дня упомянул на лекции имя Аверинцева и, сделав паузу, спросил студентов, кто его читал. Молчание. «Кто вообще слышал это имя?» — Подняла руку девочка-отличница. Sic transit...



12 февраля

After the second day of the CAA grand convention in NYC, I was about to utter a rant of an old grumpy man on how much I dislike everything, but went first to a lavatory — and there, upon catching sight of a cockroach traversing the upper insides of the toilet bowl, I without further ado washed the creature off with my spurt. Not so many professors of art history can brag about it, I'm sure.

14 апреля

Утром в День рождения открыл в Онфлэре ноутбук, а там — поэма от Э.

ПАН

Е. С.

Я буду плакать в твой брусничный жилет,
называя тебя богом Паном,
Хотя алхимики утверждают,
что имя твоё — Мефистофель.
Подкараулив жертву,
ты кормишь её изюмом
И щипаешь за пятки,
разражаясь тоненьким смехом.
Пепел из колумбария
покрывает твой письменный стол
Ты пишешь грустные мейлы
патрициям и сибаритам.
Десять стульев из пластика —
сияющий твой престол.
Я буду плакать, а ты
подцокивать мне копытом.

Самое забавное, что несмотря на всю элегическую чертовщину, все детали — святая правда, включая пепел из колумбария: в той квартире было паранормально много пыли, а рядом находилось Донское кладбище.



17 апреля

В RER поезде на втором этаже — три негра, одна арабка в платках, один бомж с неопределимого цвета лицом и пятками и один средних лет француз с тонким лицом левого интеллектуала. Он сосредоточенно грызёт ногти, разглядывает проделанное сквозь круглые профессор-

ские очки, потом снова грызёт и сплёвывает. Скорость обработки — два пальца за перегон. Нам ехать двенадцать остановок.

В городке Сен-Женевьев де Буа через пять минут становится понятно, что маршрут на сайте был не вполне точен. П. спрашивает дорогу у старичка с собачкой. Он долго думает и говорит, что это далеко и вообще трудно найти. «Давайте я вас лучше отвезу». Приглашает в сад, выводит из гаража машину и везёт минут 15, изучая жантильность.



Давненько не выкушивал такого восхитительного кагора — из замка Евгении разлива Петра Великого (Chateau Eugenie, cuvee Pierre le Grand).

Вообще знание французских торговцев вином изумляет: приходишь в лавочку, говоришь, мне бы какого-нибудь белого. — К рыбе или курице? А к какой рыбе? Ах, к лососю! Тогда из этих. А как вы собираетесь его готовить? В духовке или на сковородке? А в бумаге или фольге? Ну если в духовке и фольге, тогда лучше всего это или это. И необозримый километраж из высоченных полок магически сужается до двух-трёх бутылок, из коих я сам выбираю наиболее симпатичный мне рисунок на этикетке и название замка.



23 апреля

Переписывался с одной милой (и, кажется, в отличие от меня, серьёзной) френдессой. Пишу: «Я только вернулся с лекции — 6–9 — про любовь». Она: «Неужели такие лекции разрешены?»

Боюсь, она не заметила дефис между 6 и 9. Но мне нравится такой ход мысли.



Прочёл: «Азбука учит, что среди согласных немало глухих».

Добавляю: и некоторое количество шипящих.



Сочиняю доклад на тему “Love’s Labour Lost: The Russian Way from Japonophiles to Japonophobes” — читаю дневники живших там в период Мэйдзи-Тайсё. Инвариант — от полного восторга к полному поношению. Моя идея: народы относятся к японцам примерно как к евреям: всем нравятся тексты и штучки, но не люди, их создавшие. Вещами и идеями удобнее наслаждаться так, чтобы присутствие их авторов не раздражало.



Из письма Л.

Вы уже в Карелии, на лодочке, золотисто-золотой? А я — в Париже. Читатель ждёт уж рифмы «лыжи»? — на вот лови её скорей — третьего дня в ресторане «Брат Грегуйар» видел огромные неуклюжие лыжи, пришпандоренные на стену крест накрест, с креплениями времён моего доисторического детства...

Что ещё? — был в Мексике, взбирался на пирамиды... Нет-нет, это чужие слова. Я был в Пиренеях, взбирался на горы и слезал в долины, ходил по дороге в Сантьяго да Компостелла, куда уж поболее тысячи лет паломники

таскаются, чтобы помолиться фальшивому черепу одного старого еврея из Иерусалима (того самого, коего, по разысканиям ученых сотрудников ГМИИ, злые фарисеи сбросили с «церковной крыши» — и им за это ничего не было — не фарисеям, а сотрудникам).

Но в основном сию за столом и сочиняю доклад под названием «Love's labour lost: The Russian way from Japanophiles to Japanophobes».



7 August

О безвременной смерти Светланы Бойм подумал, сидя на учёных радениях. Мы с ней практически не были знакомы — встречались два-три раза — однажды в каком-то московском ночном клубе, или как-то разговаривали на конференции в Вашингтоне. И вот сейчас на этом сборище в Японии я вижу Томаса Лахузена из Торонто, Патрицию Полански из Гонолулу — которые были тогда все вместе на вашингтонской панели (в 1994? или 95?). И все заседают и докладывают, как прежде. И я зачем-то слушаю и вещаю... А Светлана в этом уже не будет участвовать. Да и нужно ли в этом участвовать до самой смерти?

5 августа

Прочитал во влажном мареве Макухари свой доклад про механизм и причины перехода из японофилов (заочных) в японофобы (в результате непосредственного контакта) и завершил (отчасти, чтобы потроллить — но также и всерьёз) своей идеей о том, что к японцам — как к евреям: их штучки (от божественных книг до электроники) нравят-

ся, а сами, когда появляются рядом, раздражают. Спровоцировал бурные отклики. Один профессор (русский, но уж лет 25 живёт за границей) сказал: «Нет, евреи раздражают, когда они, настоящие, с пейсами и шляпами, а которые никак не выделяются — нормальные ребята.» Весело. Перекликается с одним откликом, который я получил, когда неделю назад обнародовал эту идею. «Японцы не раздражают», — гласил коммент.



4 сентября

В студенческие годы читал, как в «Чонкине» Войновича самоубившийся председатель колхоза оставил записку с одним только словом — «Эх!» Было смешно. Сам я в те годы сочинял записки (правда, не предсмертные, а любовные) сильно длиннее — со скорбными пенями и с элегическими подвывами. Некоторое время тому как — перешёл на краткий вариант «Эх ты...» А недавно подумал, что и это в общем-то редундантно. Достаточно одного «Эх!»

И тут я вспомнил про председателя.



Одичание

Не так уж и долго я отсутствовал в Москве, но вот приехал — и натываюсь на всё новое погружение во что-то этакое. В метро новые объявления — т. е. текст старый, но голос новый и интонации специфические. «Уважааемые пассажиры», — растягивает совсем не по-московски с каким-то блатным подвывом и делает смысловые паузы

там, где их быть не должно — напр., между «Берееенным. Жеенщинам». Жидковатый этот голос напомнил мне нищих, блуждающих по вагонам: «Сааами-то мы не мееестные...»

Всё больше людей садятся, размещая зад посередине свободных двух мест, — так, что никто, если специально не попросит подвинуться, сесть рядом не может. Кладут рядом с собой на сиденье мешки и сумки — а напротив стоят люди.

Всё больше бритоголовых пузатых парней и средних лет мужиков в блестящих шароварах Адидас. Многие сосут пиво из банок и, высосав, оставляют их на полу под ногами. Как-то стремительно стало накатывать такое. Впрочем, что с мужиков в метро спрашивать. Видел недавно в ФБ размышлизмы модного, говорят, доктора философских наук, из молодых, — с ошеломительным количеством орфографических и синтаксических ошибок (не опечаток!!). Изумился, посмотрел на фото — бритоголовый, в блестящих штанах с адидасовскими полосочками. Что это — гопотизация всей страны?



Вернулся вот на родину, тыкскыть, и чуть не заплакал — глаза опухли и на мокром месте, нос красный, будто нарюмился изрядно — в общем, дискомфорт и неприличие. Пошёл к врачу. «У вас, — говорит, — батенька, аллергия на цветенье». — «Помилуйте, — отвечаю, — я вот только из Парижу, где всё цветёт и пахнет — и там ничего такого» — «Ну разумеется — говорит старый доктор, — там, наверно, каштаны цветут, да фиалки Монмартра с лилиями долин. А у нас...» И сделал мне прик-тесты. И что же? — Аллергия три креста (это, вероятно, как аллюр три креста) на: 1) берёзу, 2) ольху, 3) полынь и 4) лебеду. А вот на дуб и одуванчик почему-то нет. И ещё на мятлик нету.

Так что хоть мятлик меня ещё радует. Но от берёзки я такого не ожидал.



Английского языка в Москве стало заметно больше. В том числе пресловутого чиновничьего. Центр унавешали строгими табличками “Exposed object of cultural heritage”. Имелось в виду «выявленный памятник». Вот такое exposé.



5 сентября
Сны монархиста Хворобьева

И вот привиделось под утро: нагрязнул неожиданно старый знакомый, знатный художник, в Нью-Йорке живущий. Посмотрел придирчиво и брезгливо на стены и говорит: «Где мои картины, почему не висят?» Я что-то смущённо мычу в ответ. А он: «И вообще: интервью со мной не опубликовал» (я, про себя: так-то когда было-то — лет 15, поди, уж как, а он всё помнит), «И в ММОМе (я: так он ещё и заикаться начал) мою выставку не организовал». И заканчивает: «Вот заберу все свои картины взад». Я лепечу: «Так ты ж сам дарил, а кое за что я денег дал, и вообще, мы ведь друзья...» А он: «Как дал, так и взял, и ты мне не друг, а портянка, коли к ватникам поехал. Щас за грузовичком сбегая и всё подчистую вывезу». И ушёл.

Тут появляется подружка — кто такая, не пойму, лица не помню. Я ей: «Вот щас НН приедет на грузовичке, все картинки свои, которые у меня не распакованы, заберёт». И тут звонок в дверь. Мы с подружкой со страхом прячемся во взаимных складках тел. Тут я просыпа-

юсь, но в дверь и вправду звонят. Когда звонки, наконец, смолкают, высовываюсь из-под футона, надеваю юката и приоткрываю дверь. Под ней валяется записка: «Мосгаз приходил».

Возвращаюсь в комнату и вижу три картины, стоящие на полу у стен, вспоминаю ночной разговор про выставку в заикательной ММОМе и позабавившую давеча в метро рекламу перевозчика Грузовичкофф'а. В общем, тут и доктор Фрейд не нужен. Но всё равно как-то стрёмно.



22 Сентября

Просыпаюсь себе в День покаяния и вижу письмо:

«... Я разрываюсь.

С одной стороны, Вы как Солнышко в этом болоте.

Как Румата в Средневековье.

С другой стороны, Вы неисправимый...» (следует отчасти лестное, но довольно сильное выражение.)

Неожиданно. Но покаюсь и в этом.



Записки натуралиста

Из дальних странствий воротясь, вылез добыть свой пен котидьен. Кругом багрец и золото. Перед магазином под названием «Гастроном 21» три тётки в беретках и с сумками на колёсиках. Одна рассказывает товаркам: «Всякий предмет имеет своё энергетическое поле. Он включён в энергетическое поле Земли. И мы...» Я было заслушался, но отвлекся на крысу, которую поначалу принял за бел-

ку, столь спокойно она сидела, что-то грызя, у стенки, но определил таксономическую принадлежность по хвосту. Астральные тётки у магазина не обращали внимания на неё, а она — на них. На обратном пути видел мужиков на лавочке с пивом и в шароварах адидас. «Обама — не чмо, — говорил один. — Это пидор питерский чмо».

Эх, что за весёлость, братцы, что за удалство — быть московским человеком.



Мы лишь бродяги на земле,
Мы только странники.
Свистя, хожу навеселе,
Немного пьяненький,
Немного пьяненький,
Слегка обиженный,
Слегка обиженный,
Не бритый-стриженный. <...>

Мы одиночки-москвичи,
Отцы-пустынники,
Нас полечили бы врачи,
Да нету клиники,
Одни рецептики
Да антисептики,
Бумаги-справочки
Да печки-лавочки.

Ночами пусто на Руси —
Глухая просека.
Ни пешехода, ни такси,
Ни даже пёсика,
Ни духа псинаго

И ни бензинного,
Ни человеческого, —
И выпить нечего. <...>

Аркадий Штейнберг

Проснулся утром с ощущением, что снилось нечто восхитительное — про то, как надо жить. (А также где и с кем). Восстал бодро с одра, чтобы немедленно приступить — и понял, что не помню, с чего начать. Подумал: вдруг онейрика ещё разок подскажет — упал в койку, потерял сознание. И вновь пошли блаженные виденья и откровенья. Очнулся сильно после полудни. Ничего не помню. Наверно, это был первоапрельский привет из мирового эфира.

Решил я, лёжа на диване, почитать про Обломова, но ока-
янный гугл подсунул мне другого Ильича — Ивана, ко-
торый умер. Тоже кстати, подумал я и стал читать. И вот
во первых строках вижу: «...самый факт смерти близкого
знакомо-го вызвал во всех, узнавших про неё, как всегда,
чувство радости о том, что умер он, а не я. “Каково, умер;
а я вот нет”, — подумал или почувствовал каждый». Фу,
какой противный. Не знаю, читать ли дальше. И вообще,
может, пора перейти с «Гугла» на «Яндекс»?

Всё-таки стал читать «Смерть Ивана Ильича» и за первые
полторы страницы незаметно сгрыз большой пакет ма-
ковых сухарей «Звёздные». Вот чего мне всегда не хватало

при чтении Толстого. Или просто у меня маковая депри-
вация прорезалась. Мисюсь, где ты?

«За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком
мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синево-
вод глазами, значение которой знал Иван Ильич». «Глаза
у него были и заплаканные, и такие, какие бывают у не-
чистых мальчиков в тринадцать — четырнадцать лет.»
(О мальчике в день смерти его отца). Кажется, Толстой
на грех рукоблудия намекает. Моралист хренов.

Когда я был на первом курсе, умер В. Н. Лазарев. Помню
похороны и запомнил, как после этого коллеги в Пуш-
кинском музее говорили, что Виктор Михайлович Васи-
ленко ходит безудешный и повторяет: «Когда от меня все
отвернулись, Виктор Никитич посылал мне посылаки».

Я ещё не знал, кто это, но спустя несколько лет до-
рос до курса В. М. «Народное искусство». Узоры на прял-
ках, полотенцах и наличниках я тогда воспринимал плохо
и мало что запомнил, хотя помню, что щедрый (и, веро-
ятно, хорошо представлявший студенческий уровень)
Виктор Михайлович ставил всем автомат и немного по-
детски хвастался только что вышедшей книжкой, ко-
торую некоторые запасливые студенты протягивали ему
на подпись перед тем, как протянуть зачетку. Было что-то
трогательное и, как мне тогда казалось, простоватое в той
мечтательности, с которой он рассказывал о небесных
оленях или шёл по коридору с довоенным по фасону и по-
тёртости портфелем, в подтянутых чуть не до подмышек
(опять же по какой-то старинной моде), а потому корот-
ких брюках.

Вскоре я стал бывать у Н. А. Павлович, которая рассказывала мне про Самуила Галкина и его друзей и лагерные университеты в Абези — где он сидел с философом Карсавиным, поэтом Спасским, искусствоведами Пуниным и Василенко. «Ему повезло, — говорила Павлович, — Он попал в хорошую компанию». Потом узнал, что фамилия Василенко — отнюдь не крестьянская. Оба деда В. М. были царскими генералами.

И вот я попал на прошлой неделе в город Суздаль, с заезжими американцами. В Спасо-Евфимиевском монастыре, пока они выбирали в соборе берестяные коробочки и прочую матрёшечную лепоту, я в одиночестве бродил по залам бывшей монастырской, а потом советской тюрьмы. И на стенде с делом Даниила Андреева увидел имя В. М. Василенко — первое справа в прихотливой схеме антисоветских связей Андреева, любовно вычерченной каким-то опером. Когда я позже противу обещанного пришёл в свежее и ярко покрашенный собор, заморские гости спросили, почему я так долго. «Профессора своего встретил...»



Есть в моей наружности всё-таки нечто мизантропическое...

Или демоническое. Или радикальное. Или просто ослиные уши надменного супремасизма не спрячешь даже под лихо заломленным беретом с эмблемой Yeshiva University Museum.

Иду я себе неспешно из дома подружки с элегантным чемоданчиком, приятно поскрипывающим парижскую кожей, величаво рассекая море разливанное киргиз-кайсацкия орды (у коих, видать, смена в соседнем Гагаринском молле закончилась), вхожу в метро «Ленинский, извините за выражение, Проспект». И тут

ко мне, разметая мелких гостей столицы, бросается наперерез дюжий охранник и кричит: «Мужчина! Чемоданчик пожалуйте на просвещение!» Я не сразу сообразил, что «мужчина» — это я. Обычно ко мне обращаются или «молодой человек», или «господин профессор». Ну ладно. Ласково улыбаясь, как принц, путешествующий инкогнито, говорю: «Чемоданчик, простите, на что?» Оказалось, его содержимое понадобилось проверить на наличие взрывчатых или прочих веществ. Мужик хватает его и засовывает в некий просветительный шкаф. И пока он напряженно вглядывался в туманное изображение моих приватностей, я ему, опять же ласково: «Что же это вы, голубчик, не можете мусульманского террориста от еврейского профессора отличить?» Фразу эту я использую вот уже лет десять с разной степени неприятными для себя последствиями во всех аэропортах мира, но отказаться себе в удовольствии не могу. Но на сей раз эффект был убойный. Мужик смешался, застеснялся и говорит виновато: «Ну у нас пока ещё не как в Израиле. Мы по лицу не проверяем. Спасибо, извините, доброго пути». — «Ничего страшного, я не спешу, — приятно ответил я. — Но всё-таки, знаете, пока вы со мной беседуете, вдруг какой-нибудь воин джихада проскочит?» В общем, оставил мужика в сложных чувствах, а сам иду к эскалатору и думаю: «Не как в Израиле! Ха-ха! Вот как раз в Израиле, пока тебя не зарежут, все считаются мирными арабскими жителями».



Как меня проверяли на терроризм в Париже

После вчерашнего сеанса б(з)дительности на станции метро «Ленинский проспект», расскажу про сходные отправления в иных краях. Вот.

С месяц назад было дело, вообще-то противно было писать. В аэропорту CDG (Paris) на контроле безопасности (Security check) после просвечивающего чемоданы устройства конвейерная лента раздваивается на общий и боковой потоки. Регулятором потоков выступал чёрный толстый-претолстый охранник, чьи окорока свешивались со стула направо и налево и почти до пола. Он посмотрел на меня, на чемоданчик (маленький, ручная кладь, довольно изящный и на вид недешевый — пишу это, ибо думаю, что это имеет значение) и направил его в боковой тупичок. “Random search”, — сказал он по-французски и показал, что мне надлежит следовать в этот же тупичок.

Там ждал мелкий араб с приклеенной улыбкой, который заявил, что ему необходимо проверить содержимое. Открыл чемоданчик сам и стал прощупывать и перетряхивать штаны, носки и ти-шортки. Не найдя искомого, взялся за книгу *Artistes Juifs de l'Ecole de Paris*, и, покачав её в руках, спросил, почему она такая тяжёлая. — «Потому что там много убитых artistes juifs», — довольно раздражённо ответил я. Араб кротко улыбнулся и стал листать. Пролистав страницу сто, он стал прощупывать корешок и заглядывать в него под углом. (Да, возить всякие криминальные мелочи в переплётах — старый трюк). Настало время для моей коронной фразы: «Вы что, не можете отличить еврейского профессора от арабского террориста?» Араб отложил книгу и попросил меня вытянуть вперёд руки. К ладоням и пальцам он поднёс какую-то машинку и стал медленно водить взад-вперёд. Искал следы пороха. Тут я уже не то чтобы разъярился, но испытал полное и окончательное отвращение, каковое не преминул с помощью лицевых мускулов изобразить в чрезмерной форме. «Вот вы тут выбрали меня, немолодого и книжного (а также элегантного и красивого, добавил я про себя), из всей этой

толпы...» Тут я повернул голову к толпе у основного конвейера и увидел, что от него отходила с преогромным чемоданом молодая особа в чёрном мешке и замотанная в платок, из-под коего торчали только зенки и почему-то нос (рот был закрыт). А открытый нос, вероятно, полностью удовлетворял стекающего со стула чёрного — ибо вообще-то по закону во Франции запрещено закрывать лица в публичном пространстве. Рядом с мешковидной особой был ейный мужик — в коротких белых подштанниках и со специфической крашеной бородой. А в трёх метрах стоял я с раскуроченным чемоданом, подозрительно тяжёлой книгой и руками, которые почему-то никак не пахли порохом.

Да, забыл сказать, что в тот раз я путешествовал с израильским паспортом — что делаю довольно редко. Просто захотелось посмотреть, как на него прореагируют французские пограничники. Увидел. Что тут скажешь — бл*ди, сэр.



14 ноября
К вопросу о мультикультурализме

«Вся воровская психология построена на том давнишнем, вековом наблюдении блатарей, что их жертва никогда не сделает, не может подумать сделать так, как с лёгким сердцем и спокойной душой ежедневно, ежечасно рад сделать вор. В этом его сила — в беспредельной наглости, в отсутствии всякой морали. Для блатаря нет ничего „слишком“». Варлам Шаламов.



10 декабря

На заре синемаатографа

Прочёл в местной газете, что «История синемаатографа на Быховщине, по материалам краеведов, началась в 1913 году, когда в г. Быхове частный предприниматель Штейнер открыл развлекательное учреждение “Кино Театр художеств”».

Это был мой прадедущка. Интересно, что рождённый в 1859, он, будучи в 1913 уже солидным господином, увлёкся этими новомодными mass media технологиями. Видать, пыхал молодым задором — прям как я. К тому времени у него было уже пятеро взрослых детей. Но в этом я с ним состязаться не могу, не хочу и не буду.



Собираясь выйти, стал искать книжку в дорогу — эта большая, везти тяжело, видать, не прочту никогда, потому как дома в компьютер исключительно пялюсь. Ту читал раза три, а вон ту — надо бы, да лень... В итоге взял маленький толстенький сборник стихов: некогда — приятеля, давно уж — знакомого, и, вероятно, не доброго, ибо слышал от сплетников-доброхотов, что подвыпив, он любит меня поминать, острить и хихикать. Ну да бог с ним, подумал, — вот прочту, вдруг стихи резонируют, я умилюсь и проникнусь, и напишу ему что-нибудь от души.

Увы... нескладушки и пафос, и унылая горечь маленького человека. Стоит он то над бездной, то над схваткой, а попросту в углу, всё обзирает и всех презирает — ну прям как я в юные годы. Но всё ж там-сям мелькнёт строка иль две — и если б умел он облечь свои унылые размышленья о жизни в слова чуть большей уклонности...

А так, в общем, как-то неловко читать, да и неинтересно. Но маленького человека с большими усами и с задатками для большой жизни, да и трудолюбивого, как муравей, мне жаль.



9 января

Чего-то не работается, копаюсь наугад в давно забытых залежах и нахожу в них велеречивые перлы. Вроде это: «Расщеплённо-плюралистическое сознание XX века, отягощённое комплексами детрибализованного парасоветского приживала новоевропейской культуры наделило наше видение небывалой дотоле стереоскопичностью, но смазало фокус и исказило перспективу. Не зная толком ни одного из языков, мы пытаемся читать на всех сразу».



16 февраля

Иду себе по городу, нездешне улыбаясь чему-то несвоевременному. Остановился на переходе. Рядом оказавшаяся особа глянула на меня и сказала: «Мужчина, вам адвокат нужен?»

И ей ласково улыбнувшись, сказал: «Спасибо, я сам». А отойдя, подумал: нужен, нужен, да ещё как! Ушлый лойер, спорый стряпчий, крапивное семя — кто-нибудь, кто б заступился в затяжной и заведомо проигрышной тяжбе с жизнью, где я выступаю ответчиком.



28 февраля

И снова читая Адама Олеария (по-английски в издании 1669 и по-русски в пер. 1868 — рус. перевод сделан с более полного немецкого издания), наткнулся на заметки его предыдущего читателя. И я сиживал в ротонде Британского Музея, пока её не перекрыли дурацким куполом. И читал примерно такую же эзотерическую фигню. Очень похоже:

“A highlight of my misspent youth was sitting in the reading room of the old British Library gazing up at the great blue dome looking at the fine cracks running across the plaster while waiting for a book about rhubarb to be brought in by dispatch courier from one of the many locations around London where the books were actually stored.

I was working on a dissertation English-Russian trade in the first half of the seventeen century and it turned out that Asiatic rhubarb was one of the products the English merchants were keen to acquire because it was widely used by apothecaries to make particularly effective laxatives.

Anyhow as you do I ended up reading some delightfully obscure things, for instance about the four youths sent by Boris Godunov to England to gain an education — they all either died or defected, one ending up as an Anglican Priest only to lose his living after the civil war — and a good deal of early travel literature. The best of which was Olearius' Travels.

It is by far the most interesting of the accounts written by foreigners in Russia in part because Olearius' interests were so encyclopaedic. For example he records an extremely foul insult still in use in modern Russian shouted with delight by children playing around a graveyard...”



Набоков говорил: «Труссы мечты не создают». А отсутствие трусов — и подавно.



Прочёл в лагерных максимах Ходорковского: «Почти у каждого в душе есть что-то святое». Подумал: мне это близко, но так уж прям святое? Стал думать: а у меня что? Вроде ничего, и вообще, я ванну предпочитаю. Некоторое время перебирал в уме все её уголки, пока не понял, что неправильно поставил ударение. Проблемы с душевностью, однако. Или распад полисемии.



Just read in The New Yorker:

“Poor, crippled Ethan—the epitome of patience and interminable suffering—no doubt shoulders this latest indignity with mute forbearance; after all, as his example tells us, life is a process of steadily accumulating burdens”. Such a cute definition of life!



Далёкий северный друг поведал народную мудрость: «Живот на живот — и всё заживёт». Интересно. Надо у девушек спросить: хорошо ли помогает? Мне так средне.



Когда я был молодой и горячий, я, бывало, писал под псевдонимом Старик Сасакин. Сейчас мне ближе Подросток Цундокин. Борюсь с новонайденным в себе под-

ростком Цундокиным (кто забыл: «цундоку» — япон. 積読 — покупать книги и, не читая, задвигать их подальше), достал с полки лет пять-шесть назад купленный том «Рим совпал с представлением о Риме». В предисловии к своему изумлению обнаружил своё имя — в примечании. Цитировался мой давний перевод Бродского. Вот так и войдёшь в историю — в виде сноски в мало-читаемой книжке.



13 апреля

Стоя под аркою Тита, снова подумал об исторической иронии: спустя каких-то 200–300 лет его потомки — весь Рах Романа и его преемники вплоть до наших дней — стали поклоняться тому самому Б-гу, чей Храм он разрушил. Правда, через ходатая — его Сына. А заодно апроприировали всю еврейскую историю со всеми праотцами, пророками и царями в качестве своей собственной священной. И на могиле, например, христианнейшего папы Юлия просят Микеланджело изваять Моисея, пра-матерей Рахиль, Лию и т. д.



April 22

Девять дней, как умер Анатолий Слепышев. Однажды я оказался соседом Слепышева на свадебном пиру моих замечательных друзей Любы и Лёни Берлиных. Опустошено бутылок было немало, и в какой-то момент Слепышев взял прибывшую на стол полную — зажал в ладонь в верхней части у горлышка, и, перебирая пальцами, стал продвигать её наверх. Я восхищённо отозвался

о его силе и ловкости, на что Толя гордо сказал, что так только скульпторы могут. Ну и некоторые, вроде него, художники тоже. Я этого стерпеть не мог и заявил, что искусствоведы тоже кое на что годятся. Взял у него бутылку и не без труда и не без излишних покачиваний, но всё же прошёл пальцами от горла до донца. Слепышев удивился. Велел отыскать непечатую бутылку шампанского. Давай с этой, сказал он мне. Сначала вы, маэстро. Он крякнул и взялся. Пальцы были коротковаты, но он справился. Короче, по всем статьям сильный был художник.

А я сейчас, по прошествии тридцати лет, не удержался и повторил. Получилось, ха-ха!



Лотман

Но и находки не спасали от депрессии, «устал» — одно из ключевых слов переписки. Вот апрельское письмо 1977 года: «Живу же я не очень весело: я работаю много, но без той радости, кот<орую> мне всегда доставляла работа. Что-то в часовом механизме души стёрлось и шипит и щёлкает, как в старых часах. (...) Правда, стоит мне обрадоваться, как я снова делаюсь молодым. Беда только в том, что причин для радости делается всё меньше».



“You stop hitting the gym or going out for drinks; you stop shaving or washing your clothes; in fact, you stop doing almost everything. Your friends begin to worry about you, and they are not exactly worrying types. I’m O. K., you tell them, but with each passing week the depression deepens. You try

to describe it. Like someone flew a plane into your soul. Like someone flew two planes into your soul”. (Не помню, кто написал — из «Нью-Йоркера»).



Приснился раз бог весть с какой причины профессору какой-то странный сон. Как будто он на лекции блещет, еси обычно, своими квазиакадемическими бонмотами, увлётся, видит, у студенток глазки горят, айфоны всё отложили, внимают не дыша... Спрашивает этак небрежно: «Сколько у нас ещё времени осталось — 5 минут? Жаль, я б тут вам много ещё чего на эту тему...» — и с фальшивым вздохом руками разводит. А студенты ему с мест кричат: «Нет, у нас же сегодня четыре пары подряд. Учебная часть расписание изменила».

«Да? — холодеет профессор, — ну тогда отлично. Расходимся на перерыв, а потом продолжим».

Идёт бодрым спортивным шагом в свой кабинет, открывает флэшку, на которой его лекции с весёлыми картинками на все случаи жизни — и видит, что флэшка пуста. Всё стерто, кроме несданного в бухгалтерию финансового отчёта с билетом из Барселоны в Пальму-де-Майорка. Ну, ничего, думает он, я им покажу книжку академика Конрада с автографом и расскажу, как он меня, в гроб сходя, благословил. Ищет книгу Конрада, которую по другой надобности клал в сумку — её нет. И книги Дональда Кина с автографом — тоже.

Вместо этого на тёмном дне хипповой профессорской торбы, купленной на блошином рынке Ватерлоо, что-то краснеет. Он тащит (оно сопротивляется) и вытаскивает длинный лёгкий шарф из Рима. К его дальнему концу привязан другой, бордовый, из Порто-Кристо, к нему — зелёный из Венеции, дальше идут скопом три платочка-тэнугуи из Асакусы, потом парижский фуляр

в синюю крапинку, лондонский крават в польку-дот, лилялый лиловый ещё советский и ещё, и ещё...

«Неужели придётся рассказывать, кто, когда и с какими словами и интенциями мне всё это подарил», — думает в ужасе профессор и просыпается.

October 23

Georg Simmel's "stranger": «“The man who comes today and stays tomorrow — the potential wanderer, so to speak, who, although he has gone no further, has not quite got over the freedom of coming and going.” A fusion of closeness and remoteness, attachment and detachment, Simmel's "stranger" is conditioned by his unique position in space and his relationships with those who are not strange but native».



Прочёл давнее интервью с Неизвестным и вот что отметил: «Обычно трагедия художника — в несовпадении его внутреннего ритма с тем ритмом, который ему задают среда, социум, жена, дети и прочее». Ха-ха. Похоже, что я просто художник-гений. Или просто нарцисс и социопат.



3 am, Sunday, La Valetta, after the supper with cabaliero Cabral:

Excellent wine and fish. The single thing missing was the thigh of FF at my side: to put my hand on.



25 августа, Таормина

Море, горы, серпантин, красота, жара. И те же мысли. Написал, сидя за столиком, открытку: «Справа от меня море, слева — горы, передо мной на столике просекко, рядом — пустой стул. Таормина...»



28 августа, Сиракузы

На выставке современного искусства на via della Maestranza маленькая девочка (7–8 лет), толстенькая, в очках, настойчиво проводила мне «экскурсию» — читала этикетки и объясняла что-то. Мило, но утомительно было всё время говорить “si, molto interessante, molto pulchritudo”. Наверно, дочка куратора.



Напоминаю себе героя Jeremy Irons в *Damage* — в последней сцене в маленьком средиземноморском городе, один, он идёт в каких-то восточных коротких штанах, в сандалиях, с сумкой с рынка.



Мне всегда неприятно садиться на только что освободившееся место — в метро или помещении — и чувствовать, что оно тёплое.



Под утро на субботу

Смотрел фильм «Париж» (Седрик Капиш, 2008). Переплетение множества людей, по-разному одиноких и несчастных. Профессор лет 55, не лучшей сохранности — страсть к студентке, которая несколько раз спит с ним, но гуляет с молодым. Весь город хорошо узнаётся... Профессор ходит к шринку. М. б. и мне тоже?



В «Набережной туманов» есть персонаж — средних лет, с пузом и длинной бородой. Он стоит перед зеркалом и удивляется: «Почему меня никто не любит Али я не красив?» Когда смотрел лет в 20–30, думал: «Какое чудовище». А теперь вдруг стукнуло — м. б. я и сам так выгляжу в глазах тех, кто моложе лет на тридцать. Впрочем, вряд ли. Мне постоянно глазки строят, и это, в общем, забавляет.



28 декабря

Чуть не неделю лежу в лёжку. Апатия, сонливость. Когда я слышу «Оду к радости», почему-то начинаю плакать. Прочёл слова — заплакал ещё больше. ☺

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!



Надумал 31 декабря записать события, достижения-потери. Составил только рубрики: публикации, деньги, страны, поебоны, премии... А потом написал — под пустой ещё таблицей: Но это лишь дымовая завеса...



Написала П., спросила, может ли позвонить по скайпу. Позвонила — сияла и хихикала, спросила, есть ли у меня романтический партнёр. Я в ответ: “Are you trying to say that you are ready to marry me?” — Она закрыла лицо ладошками и зашлась в счастливом смехе. Потом написала письмо, что я “the love of her life”, и если её убьют террористы, чтоб я знал...

В общем, приятно будоражит. И ещё пишет несчастная Я., которой не отвечаю. Пять девушек вокруг. Но хочется одной и полной. Не толстой, а в смысле, что будет полной, наконец.



Приходила Н. Потеряла мою шапочку, была в страшной. Но страшно мила. Потом написала четыре смски: «Как хорошо поговорили, какой ты добрый! Тебе нужно для спокойствия пару девочек, которые по тебе сохнут; ещё несколько признающих, что были неправы; ещё желательно несколько подруг, мечтающих стать чуть ближе, и это всё на фоне свеженых романтических отношений. Тогда ты вполне жизнедоволен.» Смешно.



21 января

Сижу в присутственном месте. Появляется мужик в валенках — желтовато-белые, классические, послевоенные,

на какой-то резиновой, прошитой суровой ниткой, подошве. Спрашивает: «Хто крайний?» Лет ему — 30–35. Откеле сей? Откуда повывлазили? Впору писать этнографическое исследование «О ресуррекции хтонического начала в среде столичных простолюдинов постсоветского поколения».



В больнице изучил висевшие рядом списки врачей отделений: в офтальмологии одни женщины, из коих три четверти — армянки с красивыми именами вроде Арсинэ и Аревик, а в гинекологии три четверти — мужики с именами, мои записки украсить не могущими. Задумался. Вероятно, каждый из эскулапов, будучи студентом, орган себе по росту выбирал.

Вспомнил, как в годы глухой андроповщины поступил на службу в издательство «Искусство» и во время первых посиделок с тортом и сладким советским шампанским (вот ведь лужёный был желудок) забавлял редакционных дам чем-то потешным и бесстрашным на тему этой самой андроповщины. Сидевшая рядом коллега сделала страшные глаза и шепнула: «Вы, Женя, полегче — вон у Светочки, младшего редактора, муж в КГБ работает». На что я, разгорячённый сладким шампанским, изыщно развернувшись в сторону Светочки, сказал: «А кстати, папа моей подружки недавно написал воспоминания “40 лет в органах”». Тут я сделал театральную паузу. Все напряглись, а Светочка просветлела. И я небрежно добавил: «Он заслуженный врач-гинеколог». Светочка долго смеялась и обещала рассказать мужу.



В самолёте в Нью-Йорк смотрел фильм *Nebraska* — road movie. Отец и сын едут по стране — первый уже выжил из ума, а второй всё понимает, терпит, всё прощает. Ха-ха.



В китайском ресторане дали fortune cookie: “Be vigilant!” К чему бы это? Ресторан был, кстати, рядом с Family Court.



13 February

Hilton Midtown, на конференции САА. Многолюдно, ритуально, скучно. Просмотр в запаснике японской коллекции Метрополитен. Джон Карпентер, встречая гостей, сказал: «Вижу Евгения — вспоминаю годы молодости». Ха-ха. Потом приём группы SHERA в библиотеке Метрополитен, потом — вечеринка JANF в Connolly Pub в мидтауне. Выпивка, шум, толкотня. Прибило к какой-то девице. Она заговорила со мной, я представился. Оказалось, мы были знакомы несколько лет назад.



15.02.2015, ночь Нью-Йорк

Гулял в Сентрал-парке. Давно забытое чувство: прийти с мороза, когда укутанному телу не холодно, но горит лицо и стынют пальцы, в тепло и оттаивать — а потом, выпив чаю и рюмку бренди — лечь с захватывающей книжкой и обо всём забыть — думая лишь: а что там будет дальше?

Встречался с Сильвией — она прекрасно выглядит. Опоздал к ней в ресторан, поскольку застрял по соседству в Barnes & Noble, покупая книжки себе и подарочки подружкам и их детям. Потом — в магазине при Metropolitan Opera покупал шарфики и браслеты. Чёрная продавщица была of stunning beauty: с тонким станом и запястьями и деликатной улыбкой. Бывают же! Потом прошёлся по замерзшему парку, сфотографировал старый добрый Olcott Hotel — уж десять лет прошло, как мы там с Патечкой провели год, и полюбовался скамейками с табличками с именами кому-то дорогих умерших людей.



Конец февраля

Встретились с Н. — с двух до шести — в кафе Canaille, где перед этим бывал с И. и ОЛ. Дорого, невкусно, пусто. Наряд её мне не слишком нравится, но вообще... Подарил шарфик из Мет-опера и книжку с декупажами Матисса. Пришла в восторг. Чуть было не уехали вместе, но в последний момент сказала, что «много работы». Потом в течение трёх часов написала двадцать смсок.



5 марта, День Печати

Помню, как в ДК Мосрыбкомбината, куда в возрасте восьми-десяти лет ходил петь в хоре, смотрел, как шрифтовик писал плакат — и когда он написал «День Печ...», я дополнил: «Печали?» Он улыбнулся. Интересные у меня были в десять лет ассоциации.

Подумал сегодня, что за несколько дней поругался (или написал прекратительные письма) с пятью девушками.



В пятницу было солнце. Написал ФФ: «Весна!». Она: «Возможно». Нашёл песенку начала 70-х: «Вот я говорю, весна, говорю. — Она говорит, быть может». Предложил ей погулять. Сказала, что поедет на дачу. Я тоже хочу, сказал. В субботу позвонила, сказала, что не может решиться. «Ладно, не надо, работай спокойно». И около двух она внезапно явилась, заслонила — «пришла поработать». Обед, сиеста. На следующий день сказала, надо вести здоровый образ жизни и бегать в Нескучном саду. Поехали на машине, побегали под дождём. Оказалось — я выносливее, бегу дольше, дышу ровнее, в руке не дрогнет пистолет. Ха-ха. Потом ко мне. Обед, сиеста. И так три дня.



Ок. 4 утра на 15 марта

Смотрел фильм «Ида» — ч/б, польский. Действие в 1962. Еврейка Ида — выросла в монастыре. Крестьяне в войну убили её родителей, чтобы вселиться в их дом. Она приезжает перед принятием монашества посмотреть, как всё это выглядело. В деревенском кафе — милые песенки тех лет — «Руди, руди, руди, руди рыкс», Хелена Майданек, и «Закохане первый раз». Кстати, позвали в Торунь читать лекции. Скайп с П., фб с И.



Поругался с И. Точнее, ругалась она, а я был кроток и терпелив.

Читал 1 Кор. 13. Любовь — caritas — charity. Sharing? «Сквозь тусклое стекло». Или лицом к лицу.



Явилась в ночи Н., прилетев из Египта, с бутылкой египетского (sic!) вина, дабы украсить мой стол в честь исхода из Египта.



На русскую Пасху ходили с П. в Foundation Louis Vuitton — огромное здание постройки Фрэнка Гэри — всё выпукло-вогнутое, криволинейное, похожее снаружи на надутые паруса. Эффектно. Внутри — сплошные коммуникации: перекрытия, балки, тросы, тяги, двутавровая хрень — т. е. все технологические кишки наружу. Выставка — The Keys to Passion — шедевры первой половины XX в. — так себе. Потом понежились в Булонском лесу. П. ужасно старается угодить и быть предупредительной. Часто перебарщивает. На душе — смутно.



На 14 апреля стояли в Auberge St. Pierre на Мон Сен-Мишель. Остров мал, крут и забит китайцами. Потом в Онфлёр через Байё, Кан и Довиль. Остановились в «Абсенте», где и имели праздничный ужин. Славно.

Утром были в Доме-музее Сати — хорошая экспозиция, игровая, с музыкой.

По возвращении из Онфлёра принимали гостей — принцессу Дж. и графа де ла*. Ей 52, выглядит на 65.

Плохой английский, сильно жестикулирует, говорит тривиальности — о политике, об Обаме, о русских. Граф симпатичней и молчаливей. Не одобряют Украину и прочую мелкоту. Понимают Путина. Несмотря на все мои усилия, никак не могли слезть с темы русских олигархов и мафии. Заговорили об Украине. Граф сказал, что киевские князья — его предки, через Анну Ярославну. Полез на какой-то вебсайт и показал. Тридцать поколений. Среди свидетелей у него на свадьбе с Дж. значится некто Бурбон. Далее он в течение часа или двух показывал своё родство с Екатериной Второй, Иваном Грозным, Людовиком Благочестивым, Шарлеманем и т. д. «А как насчет Хлодвига?» — спросил я. “Clovis? Voila”, — сказал он. И вывел на экран в два клика. Прямой потомок. «А Юлий Цезарь?» — Он затуманился и сказал, что вот этого нет, из франков мы. Но тут же просветлел и показал на жену: «Он у неё». Принцесса в это время с увлечением пересказывала Пэтти краткую историю районизма/лучизма и хвасталась тем, что только что продала пару толстомясых Венер Ларионова. Стоило ли тянуть bloodline от Цезаря и Шарлеманя с Иваном Грозным, чтобы маршанить вульгарных бабищ провинциального и малообразованного варвара? Sic transit...



Ездил на кладбище — десять лет со дня смерти папы. Десять лет, как тогда с П. в Москве и Кристина с Карстеном. Давно там не был. Забыл, не сразу нашёл автобус. Кладбище зелёное, берёзки... Но эти заборы... Пришёл, нашёл — и непонятно, что было делать. Посидел минут 15–20. Снял на телефон памятники и себя рядом. На маминой могиле вырос ландыш.



В конце июня — в Париж. Июль — Лондон, Аннабел. Август — Япония, оттуда — в долину Луары. Мальта, кажется, лопнула. Н. в Сарапуле.



Представил себе старичка, который сидит дома, ждёт, улыбается и надеется дождаться.



Сел читать Библию, стала звонить П. — корить и уличать: мало ей внимания уделяю. “This is a bad sign”. Ох, merde, и впрямь... Как в песне: «Я вся лежу раздетая, а ты сидишь с газетою». Тоска.



Смотрел в субботу немой японский фильм «Танцовщица из Одзу» с бэнси и НЦЦ. Она меня в сети разыскала. Встретились, поговорили. Экспансивна, мало изменилась. Послал ей «Зеркало» с текстом, где есть в паре пассажей и про неё. Через неделю написала, что дошла до сцены в ливерпульской «Каверне», где я описывал скрюченного старичка, и как он сидел там с кружкой пива, горевал. «Одна кружка? — Или пиво было плохое, или ты скуп». Н-да. Как слово наше отзовется...



Весь день звонила-писала П. Купил с ней билеты Токио-Париж. LJ летит из Нью-Йорка, везёт мне журнал. Проявилась Р. Сначала эмоционально писала, что никогда не простит мне, что не захотел с ней спать, но потом

размякла (я был воплощением кротости) и предложила пойти погулять.



23 июня, в самолёте в Киев

Суета, нервные звонки с разных сторон. Сам грустно-элегичен. Смиряюсь с жизнью. Послал ФФ стих Рахили Самолубовой с subject line «Вот вскрикнул и лечу» — это следующая ступень после «и вышел мой табак». Интересно, знает ли контекст.



В CDG П. встречала с лимузином. Дни прошли более-менее спокойно и непонятно чем заняты. Пару раз брали Velib — мило, но бестолково. Она-то каждый день на вело рассекает.

Приходил Phillip Dennis Cate, директор в течение 36 лет музея Зиммерли при Ратгерсе. Оказалось, что он не только русское искусство знает, но и японизмом занимался. Делал с П. выставку в Музее Монмартра. Предложил мне сделать выставку вокруг Иккю в Гимэ. Думаю, ничем, кроме переговоров, это не кончится.

Ещё таскались к патечкиному шринку. Bizarre...



8.07. St. Jean-de-Luz

Вечером на площади Луи XIV-го слушали баскский хор Alaiak. Начали с песни «Сулико», которую объявили баскской народной. Искал потом в интернете, но не на-

шёл. Надо было купить их диск и посмотреть, что это такое. А вообще трогательно. То весело, то грустно. Хорошо, в общем. Опять почувствовал, что жизнь проходит. Милые дети бегали по площади.



Путешествуем по Стране басков. Страна басков — страна перца. Он везде. В деревне Espellete то чёрным, то красным перцем покрыты все фасады. Good and simple life — простая, дешёвая жизнь: купил на 10 евро пять колбасок, а ещё на двадцатку немного сыра и две бутылки вина. Там же — две чашки за 24 евро. Сказал П., что они будут скрашивать мне жизнь и делать её более яркой. Надулась.

После нескольких деревень и городков на Пути паломников в Сант-Яго да-Кампостелла попали в St. Jean-Le-Pied-de-Port — место сбора богомольцев перед переходом через Пиренеи. Милый городок со множеством местночлега для пилигримов за десятку. Встретилась японка, которая захихикала, увидев у меня на майке надпись 遊び人 (Асобинин, «гуляка»). Обменялись несколькими фразами. Возвращались через Биарриц.



Тоска, или, скорее, беспокойство — когда что-то надо делать (по работе), но не делаешь, ибо понимаешь, что что-то надо делать со своей жизнью. Хочется куда-то бежать — а куда? Хочется где-то сосредоточенно посидеть, а где? И на чём, собственно, сосредоточиться? Посидеть с трубкой и переждать, пока всё пройдёт, и снова приняться за бухгалтерские книги чужого имения. Проживание не своей жизни.

Читал интервью с Седаковой о семидесятых, где она высказывала многое из «Апологии застойного юноши».



18 июля, день

Сон: Где-то в Москве, невыразительная окраина. Был там и забыл на остановке автобуса сумку с какой-то бутылкой и чем-то ещё важным. Собрался обратно ехать. В этом же автобусе — папа. Сидел через проход от меня, сзади на сиденье, обращённом к двери, — т. е. задом наперёд. Похоже, дремал — мы не разговаривали. Вдруг на остановке двери распахнулись, он встrepенулcя и выскочил. Оказалось, что рано. И ещё оказалось, что он без штанов, которые он снял и оставил рядом на сиденье. Автобус тронулся, он увидел, что он в трусах и побежал за ним. Я, глядя назад, махал руками: остановись-мол, не догонишь. Он вовсю бежал. Потом автобус остановился на светофоре, папа стал приближаться. Бежал отчаянно, но технично — работая руками и ногами, как спортсмен в спортивных трусах. Подумал: какой ужас — у него же сердце лопнет. Ещё подумал: вот будет остановка — выброшу ему штаны. Самому выйти нельзя — надо срочно забрать то (не знаю что), оставленное на той дальней остановке. И тут увидел, как он на полном бегу запнулся и упал лицом вниз на асфальт...

Может быть, это паточкины страхи и причитания по поводу приезда её родителей передались. Или ноет во мне комплекс неправильного сына.



Два обеда с родителями П. — неадекватно, поверхностно, шумно. Один раз в компании с графом и принцессой.

В том ресторане Fernand Allard видел за столиком в углу красивую женщину, напомнившую экзотическим профилем автопортрет Пушкина. Дж. сказала, что это подруга Карлы Бруни, её свидетельница на свадьбе. Несколько раз взглядывал в угол и неизменно встречал её взор и улыбку. Представил, что встану и пойду в туалет, и через десять долгих секунд придёт она и... что будет дальше, придумать не стал.

С родителями вроде пока всё хорошо, но П. сильно нервничает, учит и мучит и три дня подряд спрашивает, не переменялся ли я сердцем.



Спросили, куда бы я хотел поехать — не бегать по музеям, а неторопливо погулять. Пожалуй, Вена — столица старой Европы, где долгий XIX век сиял, особенно под конец, не менее ярко, нежели в Париже, а в чём-то — даже выразительнее и порочней. Город средокрестья Запада и Востока, где немецкий (но не прусский) дух и славянство (но не восточное) подпитывались плотным еврейским субстратом и сдабривались мадьярской цыганщиной.

Город роковых евреек и утончённых антисемитов, притягательной отравы психоанализа и чрезмерной изощрённости югендштиля — и, нарастающим подспудным фоном, зреющая злоба завистливых лавочников с окраин.

Пройтись с сентиментальным мемуаром по Рингштрассе, попытаться уловить в тёмных окнах дворца Эфрусси отблеск давно исчезнувших янтарных глаз, прогуляться по Пратеру и остановиться послушать на набережной, как уличный оркестр с дирижером во фраке играет вальсы, сбиваясь то на фрейлехс, то на чардаш...

А ещё, конечно, Иерусалим, потому что не все хорошие книги о нём прочитаны и не все улочки и закоулки искожены. А делать это хочется всегда, ибо, как сказал один автор: «Иерусалим — это и не город вовсе. Это текст, который надо читать». Собственно, это я сам когда-то давно написал, а недавно увидел в виде эпитафии к одной книге.

И совсем другое впечатление: с ранних лет засел в памяти угрюмый образ иссохшего в мракобесии провинциального городка на юге Франции («Завоевание Плассана», Золя). Несколько лет назад, путешествуя с подругой на велосипедах по Провансу, приехали в Экс, и я поразился тому, насколько он, этот родной город Золя, послуживший ему прообразом Плассана, не соответствует мрачному его описанию. Город Сезанна и Андрея Волконского, солнечный и спокойный. Захотелось пройтись по нему с толковым культурным бедкером.



20 августа, Токио

В начале девяностых в Нью-Йорке были практически везде только английские надписи, потом в Washington Heights появились под ними мелкие по-испански. Потом мелкие стали равной величины, потом — перешли наверх, а английские вниз. Потом английский текст стали писать мелко, а сейчас нередко он вообще отсутствует.

Вспомнил об этом, когда увидел здесь в Японии платки за «интернационализацию» — с мусульманской женщиной, замотанной в платки, и чёрным малым во втором ряду счастливой молодёжи, а в первом — японку и белого парня. Интересно, сколько лет понадобится, чтобы переместить европейца взад, а негра вперёд и слегка заслонить японку развесистыми ближневосточными

платками? Несколько раз уже видел вывески “Halal food” или “Room for prayers”. Quo vadis?

Напряг под конец гуляний по Японии был такой, что решили лететь обратно разными самолётами. What can I say... Horrible, yet I do have some tender feelings towards her. Эх. Было время, когда писал длинные эмоциональные письма. Потом сократил до «Эх ты...». А сейчас — подобно председателю колхоза в предсмертной записке в «Чонкине» — просто «эх». Вот и всё, что я могу сказать о жизни. ☺

Пристаёт с проникновенными письмами Я.

Переписка с Г. — немного доверительно и, в общем, никак.



Летел из Тель-Авива через Ригу. В самолёте туземной авиакомпании соломенноволосяя стюардесса обращалась к пожилой даме еврейской наружности, читавшей русскую газету, с каким-то требованием исключительно по-латышски. Дама попросила её говорить по-русски, та перешла на язык жестов. Потом, перейдя ко мне, спросила по-русски, понимаю ли я по-латышски. — «Нет». — «Вы по-русски только?» — «Нет, не только». — «По-английски можете?» — и сказала, с трудом и запинаясь, что у аварийного выхода нельзя держать сумку.

Неделя в Париже прошла мирно. Город — чудесен. П., временами, — обворожительна. Зовёт в Париж нас всем или хотя бы на каждый уикэнд.

Н. улетела в Ярославль в японской рубашечке, а я — в Ярославскую область с З., собирать грибы и спать в баньке. В пнд — сумасбродная эскапада в Стамбул в поисках Константинополя и ещё кое-чего.



26 сентября написал Ясик сказать, что в «Ударнике» показ «Победы над солнцем». Отправился — видел В. П. Толстого и сына его Андрея, поговорили о каком-то сборнике и конференции. Поговорили со Стасом Наминным о постановке по-английски. Рядом стояла О. Свиблова, которая неожиданно бросилась обниматься — кажется, лично мы не виделись с восьмидесятых. Спектакль — на любителя. Последовавшая гулянка в отеле St. Regis — тоже.



П. приезжает в среду. В последние дни стало как-то спокойнее, про любовь не говорит.

Ш. пишет — хочет погулять. Перед этим — о готовности к приключениям.

Я. всё скребётся вокруг, зафрендиться хочет.

З. — конфидентка. Не пошёл с ней в кино вчера — обиделась.

Н. звонила, жаловалась на возлюбленного, на стресс, на непригодность к жизни. Улетела в Милан, хотела встретиться в Стамбуле, да разминулись.



Ходил дважды по приглашению Журбина на его фестиваль. «Мелкий бес» в театре Покровского — 13 октября. Теперь хожу и напеваю: «Как в гимназии дела?» — «Хорошо!» Будто про меня.

На концерте Леонида Десятникова с П. видели Марину Лошак. Уверяла, что телефон тот же, и просила звонить. Собираюсь. Зачем — непонятно.



«Мне иногда начинает казаться, что я твой печальный ребёнок, которого ты однажды покинул». Из письма Н.



29 окт.

Рано утром, в 10, ходил к Соловецкому камню читать имена — с Мариной.

Выступать: 3 ноября в Институте философии — про «Трофейное искусство»,

4-го — ВШЭ — «Манга и глобализация»,

6-го — ТВ «Культура» — про «Чёрный квадрат» с В. Паперным у Фёклы Толстой.



Смотрел ночью советский фильм «Объяснение в любви» (Илья Авербах, 1977). Сентиментально-интеллигентский робкий лопух влюблён всю жизнь в холодную и резкую блядовитую жену (и её ребенка). Просто мученик, ха-ха.



Чем дольше живёшь, тем чаще оказываешься за столом меж старых подруг, с коими когда-то миловался. Грустно и трогательно.



Н. в Каргополе, П. в Нью-Йорке, Ш. в Китае, Б. в Маале Адумим... Когда гулял с Габи, встретил философу Щ.



Из переписки с поклонницей

— Так мне и невдомёк покуда, кто вы — автор или литературный герой?

— Кто я? — м. б., персонаж эго-романа? (Который трагедию жизни претворил в грехофарс — вот видите: опечатка по Фрейду — вместо з тюкнул в х. Так всегда, кстати, когда приходится набирать имя Юля, палец-правдознатец, не глядя, ибо знает, нажимает на соседнюю, ту, что левее...) Впрочем, я отвлёкся, а поэта далеко уводит текст...



Был в РГГУ, где читал доклад под названием «Zen Portraits Chino: Why do The Look as The do?» (Говорил по-русски, а название такое, потому что когда подавал в последний момент, не поменял готовое английское.) Но дело не в этом. И даже не в том, что вряд ли я своим докладом поспособствовал повышению эффективности этого «вуза». (Вузузела её повысит!).

А запомнилась мне сценка: по дороге в Зал Учёных Советов надо пройти через два или три зала «Музея слепков им. И. В. Цветаева» — т. е. слепков с античной скульптуры, которые Цветаев на деньги доброхотов в Россию привёз, и музей изящных искусств организовал, дабы неимущее студенчество прекрасному обучалось. Когда вскоре в стране случилось то, что случилось, и в музее стало тесно из-за национализированных (а после войны ещё и вывезенных из Германии) подлинников, слепки куда-то задвинули. Потом Антонова их отдала в просторное здание бывшей Высшей Партийной Школы, ныне РГГУ. И вот в залах ни одной студенческой души. Только

полутораметровый потомок Чингисхана в форме не по росту с буквами то ли ЧОП, то ли ЧОН — который сидит напротив Венеры с отбитыми руками и безмятежно болтает по телефону на незнакомом гортанном наречии. Sic transit...



November 18 *Leonard Cohen in memoriam*

Ранняя гостья за поздним завтраком, пялясь в телефон, сказала: «Леонард Коэн умер».

Отравлен стал хлеб и воздух выпит. Слушал весь день и вспоминал.

С Коэном у меня случился blind date — не зная о нём ничего, ни разу дотеле не слышав ни музыки, ни даже имени, я, в потёмках дормитория Университета Оттавы, услышал рассказ о нём — и понял: попал. Впрочем, свой пентхаус сжигать не стал, за неимением оно, да и до песни БГ было поболее десятка лет.

В 1992 я участвовал в Конгрессе Word & Image (IAWIS), который проходил в Оттаве, и был поселён в пустой, поскольку каникулы, комнате общаги (тогда ещё не возвышенной политкорректно до статуса Residence Hall) на кампусе. Вернувшись на третью ночь под утро после возлияний и шумно шаря выключатель, я услышал: «Не включайте, пожалуйста, я ещё сплю», по-английски. Включать я не стал, но шуму наделал ещё больше. Мой неведомый сончлежник проснулся и объяснил, что он приехал на конгресс с опозданием и его определили в почти свободную комнату, т. е. ко мне. Он усиленно извинялся за подселение, а я — за шум. Он рассказал, что приехал из Альберты, из колледжа городка

Красный Олень (Red Deer), и спросил не немецкий ли у меня акцент. Пришлось объяснить, что кроме сомнительного акцента из немецкого у меня только фамилия, и рассказать о врождённой сложности самоидентификации, умноженной детрибализацией и эмиграцией. Ему это страшно понравилось, и мы ещё добрый час говорили — в полной темноте — о еврействе, позиции художника или интеллектуала, а также о пророках, изгоняемых из нелюбезного отечества. Он (к сожалению, напрочь забыл его имя) рассказал, что готовит конференцию, посвящённую Леонарду Коэну и, сказал, что приглашает меня принять в ней участие с докладом на тему Коэна и (само)изгнанного еврейского пророка. «Ваш опыт чреват скрытыми от других инсайтами», — сказал прямодушный реддирец, заставив меня зардеться и озадачиться.

Вернувшись в Иерусалим, где в то время была моя база, я взял в университетской библиотеке оба романа Коэна и книжку стихов, но пошло туго. Однако название *The Beautiful Losers* запало, и какое-то время я им активно пользовался в своих текстах и разговорах. На конференцию я не поехал — кажется, на университетское начальство приглашение на бланке Red Deer College произвело не самое сильное впечатление, трэвел грант мне не дали. (А зря — сборник материалов получился вполне интересным — см. *Proceedings of the Leonard Cohen Conference at the Red Deer College on October 22–24, 1993*, напечатанные в *Canadian Poetry series*, no. 33, Fall/Winter, 1993). Думаю, что сотрудники Иерусалимского университета в столь экзотических местах не отмечались и не печатались.

Не помню, дошло ли у меня тогда до песен Коэна, но помню шок от его песни “Everybody Knows”, проходившей через фильм «Экзотика» Атома Эгояна, который я видел спустя пару лет, когда жил в Токио. И фильм,

и песня наложились на переживавшийся тогда очередной разлом биографии.

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost.

Перевод простой и даже, казалось бы, банальный — все всё знают, и ничего нельзя поделать, но надо как-то жить дальше — но действовало если не катарсично, то всё ж терапевтично.

А потом случился новый мультикультурный роман, и песня “I am Your Man” послужила отличным пикапным шорткатом. Как писал об этой песне Бен Хьюитт: “it’s built around a rinky-dink synth that creeps with dirty lust and teeters along a good-taste tightrope between devotion and deviancy throughout. On the one hand, he’s vowing to stand by his beloved no matter what; on the other, he’s just desperate to feed on her body. Just witness the opening few lines, with the faint hint of kinky S&M wishes lurking beneath the syrupy sentiment. “If you want a lover / I’ll do anything you ask me to,” he pants. “And if you want another kind of love / I’ll wear a mask for you.” He doesn’t stop there, either. “If you want a doctor / I’ll examine every inch of you,” he continues, until he’s clawing and pawing so hard that he can’t stop himself from dropping animal references everywhere. “The beast won’t go to sleep,” he pleads, before rasping: “I’d howl at your beauty / Like a dog in heat.” A magnificently sly come-on, from start to finish».

Немного чересчур экзальтированно (это я о трактовке) — ибо хриплый голос Коэна произносил всё это во всех смыслах cool, вплоть до затаённого самосмешка.

Коэн вообще действовал сильно — и даже неожиданно для меня самого в качестве арсенала для знаком-

ства. Лет 15 назад я открывал в Берлине выставку одного старого знакомого, художника совриска. Держался он от тусовочного табуна обособленно (впрочем, не уверен, по своей ли воле), и это было едва ль не самое главное, что мне в нём нравилось. Исполнив свои вернисажные суперлативы, я закончил бодрым finale — в отличие от Леонарда Коэна, говорил я, который сначала брал Манхэттен, а потом собирався “take Berlin”, Берлин мы, в лице нашего художника, уже взяли. Манхэттен будет следующим. Drang nach Manhattan! Эффект был убойным. Одна аспирантка, белокурая бестия с архетипическим именем Герда Мюллер (или всё-таки Аннелора Шмидт?), не уходила от меня последующие два дня, а потом писала мне письма в Нью-Йорк, предлагая любовь и дружбу.

Потом, как-то в Монреале — где ж покупать Коэна, как не в Монреале, — я купил в книжном диск “Ten New Songs” с его такими простыми, казалось бы — но на самом деле не простыми, а primeval — песнями.

I saw you this morning. // You were moving so fast.
Can't seem to loosen my grip // On the past.
And I miss you so much. // There's no one in sight.
And we're still making love // In My Secret Life.

Или

You win a while, and then it's done —
Your little winning streak.
And summoned now to deal
With your invincible defeat,
You live your life as if it's real,
A Thousand Kisses Deep.

Впрочем, в этом любимом моём альбоме есть песни не только примордиальных слов и состояний, если куда-то

и отсылающих, то к Книге жизни и смерти, но и литературные парафразы для знатоков — как, например, в песне по мотивам стихотворения Кавафиса «Бог оставляет Антония» (возможно, через роман «Балтазар» Лоренса, в коем соединены это стихотворение и умирающий ростовщик Коэн). Коэн меняет город Александрию на женщину Александру, но оставляет достоинство потери без сожалений.

Upheld by the simplicities of pleasure,
They gain the light, they formlessly entwine;
And radiant beyond your widest measure
They fall among the voices and the wine.

Вообще, с «Десяти новых песен» Коэн пошёл — но не как в ересь, а как, напротив, возвращение к канону — в неслыханную простоту. Иудейские аллюзии, нередкие и раньше (например, на пьют «Унетанне токеф» (תוקף ונתן) в *Who by Fire*, или *Burning violins*) достигли крещендо в альбоме ухода *You Want it Darker*. Там стих, почти непохожий на стих, обращается то к богу, то к женщине, то непонятно к кому из обоих — прощаясь со всеми сразу. «You Want It Darker» — мощный farewell, или, как Коэн говорит сам в «Traveling Light», au revoir. Этот «Traveling Light» (может быть «Уезжая налегке», а может и «Блуждающий свет») или «I'm Leaving the Table» — как и раньше, есть profession de foi — уход и разлука не означают конец любви, даже если это печаль и горечь и конец всего остального, включая жизнь. Это рекуррентный мотив у Коэна — со смерти Эдит (*Beautiful Losers*) до прощания с Марианной — сначала в *So long, Marianne* и этим летом, почти полвека спустя, — в предсмертном ей письме.

Эта растянувшаяся на полвека тема — не повторение себя, а следование себе на всё более сущностном и глубоком уровне — радикально отличается от феномена Сэлинджера, который написал обалденный роман взросло-

ния — и потом целых шестьдесят лет лучше выдумать не мог и остался героем подростков с их сленгом и бунтом. Коэн не бунтовал. Он был мудрым взрослым и пел другой ответ на несправедливости любви и жизни. Самый, пожалуй, достойный ответ. Как когда-то возлюбленной (“And if you want to work the street alone // I’ll disappear for you”), он под конец ответил богу: “You want it darker // We kill the flame”. Хинэни, хинэни.



3 декабря

Подействовал рассказ Юли Винер «Моя красавица» про Аркадия и его яхту — на которой он ни разу не сплавал. Вспомнил «Клипер Иоганна-Мария» Артура ван Схендела. Читая цикл её рассказов «Место для жизни», подумал, что описанные судьбы роднит не только место (дом), но и то, что места-то как раз нет, или то, что можно назвать — не сообразу (в который раз уже), как по-русски — unfulfillment.



Купил книгу «Зелик» издательства «Август» у Маши В. Так себе («Зелик»). Навела Дана. Маша — интересно. Живёт в Мичуринце. Может, прогуляться туда и навестить заодно Танненбаум.



Начало апреля, в самолёте в Париж

Сажу в 4 ряду, рядом — немолодая раздражённая тётка в леопардовых штанах с нашитыми стекляшками. Третий

раз вызывает стюардессу и по-французски, но с русским прононсом, без улыбок, мерси и пардонов, требует устранить всякое течение воздуха. Ещё одну Дуньку пустили в Европу.



12 апреля

В Музеях Ватикана, где застряли с П. чрезмерно надолго, в Станце дела Сеньятура в нижней части «Афинской школы» свежепроцарапано по штукатурке «Лена Тамара Винница». Сфотографировал, дал в ФБ, получил в морду за антиукраинские чувства.



Стоим в *Gens Iulia* окнами на Area Sacra, где когда-то убили Юлия Цезаря, а ныне охранное место для кошек. Вечерами в номер нам носят шампанское, попивая которое, бесконечно выясняем отношения. Too bad, too sad.



На Первое мая пригласили в баснословное поместье с лодочным прудом, футбольным полем и площадкой для вертолётки. Накануне приходила Н., принесла баночку собственноручно изготовленного варенья из еловых шишек с резким скипидарным запахом. Отвезу помещикам с бутылкой вина из Пиренеев, которую мы с ней так и не распили.



Собирался к Ш. на Пасху, но не выбрался. Явился на следующий день. Говорили об отношениях. Она: «Вообще-то должно быть не больше десяти». Я: «Десяти?! Для меня три-четыре уже много!» Она: «За всю жизнь». Я: «А, я уж испугался, что одновременно».



Подумал, что по мере размыкания со своей жизнью всё чаще и легче, и все более на короткий срок захожу в отношения, внешне иной раз глубокие, а на деле случайные. Будто лихорадочно и неразборчиво ищу — и быстро прекращаю — не то, не то. Да ведь и захожу, всё чаще зная, что не то, но, наверно, надеясь: а вдруг там, на глубине (deeper penetration, so to say) прошибёт! Впрочем, нежность возникает нередко.



Видел в среду Василису — покатались на вело на Патриарших. Подарил ей, как обычно, конвертик, майку из Рима и книжку «Апельсинные корки» Марии Моравской — трогательные стихи начала века, которые издала Маша и которые в количестве шести штук я у неё купил для подарков девушкам и их детям. Пригласила Таня Ян в Тарусу на выставку Augea Roma, поеду туда с НБ. Потом в Иерусалим на конференцию и после кататься на яхте от Майорки до Менорки.



*6 августа 2016, Афины,
Национальный археологический музей*

Сажу в зале надгробных стел. Господи, какие лица! Вот уж откуда эманурует обаяние молодой смерти.

Вспомнились слова: «Разве не человек — первопричина!»

Уже несколько лет, как стал находить лица и фигуры античной скульптуры намного привлекательней и человечней (sic!) дальневосточным картинам, где портреты просто никакие — сведённые к схеме («хикимэ кагибана» — «глазки — щёлки, носик — крюк»), а тела красивиц, погребённые под ворохом одежды и волос, напрочь отсутствуют. Что с того, что там такие благорастворительные космические пейзажи — горы-воды, гармония стихий... А человек-то — маленькая деталька! Наверное, так оно и есть — малая (и необязательная притом) деталька. Я не верю в антропный принцип.

Но тем эллинское тело и склонённая в грустной полуулыбке голова и поразительнее: кто они такие — да никто. Ни с точки зрения космоса, ни социума, ни власти. Спокойная печаль личного достоинства — вот что такое эти мраморные фигуры и лица. Такого не было ни у китайцев, ни у японцев, ни у евреев.



В Музее Виллы Гетти увидел римский саркофаг с оставленными на потом (т. е. вытесанными вчерне — в ожидании воли заказчика — лицами. Умно. А то ведь никогда не знаешь, с кем навсегда ляжешь.



Увидел в витрине при кладбище в афинском Керамике много острака (или по-русски правильно «остраконов»?). На них — если я правильно прочитал — все знаменитые имена: Алкивиад, Демосфен, Фемистокл... И подумал:

почему же в той стране народ не может предать черепкованию своих охлократов и клептоманов из охранки?



Снилось, как сижу за тесным поминальным столом с Аверинцевым. Он в ушанке с подвязанными на макушке ушами. Соседка по застолью, дивной иудейской красы дама (по состоянию на 30 лет назад), говорит ему: «Сергей Сергеич, что это вы в шапке за столом, как нехристь какой!» А он: «На поминках так и надо. Бахтина почитайте!» И снова поворачивается ко мне и продолжает рассказывать про каких-то птиц, размахивая рукой с зажатым в ней бокалом и расплёскивая жёлтое вино. Время от времени он восклицает: «За птиц!» и тянется ко мне чокаться через волоокую Лею. Джентльмен во фраке и с толстым шарфом, обмотанным много раз вокруг цыплячьей шеи, кричит: «Что вы всё про каких-то птиц! Надо про покойника». Аверинцев смотрит на него с изумлением, которое я запомнил в нём в жизни, когда он удивлённо воззрился на меня рядом с лекторием Пушкинского музея в ответ на мой вопрос (помню, какой), и говорит: «Как это — каких-то птиц? — Стимфалийских!». Тут я проснулся.

А кого поминали, не помню.



22 сентября, день

Пока чёртов компьютер обновляет (принудительно) программу, и конца этому не видно, решил записать то, что крутится в голове почти три недели.

Когда (4 сентября 2016) умерла Новелла Матвеева, прослушал её песенки. С тех пор в голове: «Ах, вернись,

вернись, вернись. Ну оглянись, по крайней мере». Думаю, что я не хочу, чтобы кто-нибудь, с кем я когда-то расстался — по своей или не по своей воле, — вернулся. Но хочу, чтоб оглянулась. Я от неё ушёл, и возвращенья не хочу. Но хочу посмотреть, постоять, посидеть, может быть, даже полежать... Ну оглянись, по крайней мере!



В Иерусалиме встречался с НГ. Долго ехала из Т-А, был страшный ветер, прошлись по центру, показал ей того-сего, поели-выпили в «Тмоль Шильшом», где сделал её фото на фоне книг и бокалов, которое она поставила на аватарку, а потом забанила меня нахрен. Порывистая девушка. Расставшись с ней, был окликнут на Яффо Леной, приятельницей Б., и подвезён ею до дома, откуда вскоре на машине отправился в аэропорт встречать Белку, Даниэлу, Анат и Дину. Вообще, довольно много водил там машину — и довольно лихо после долгого перерыва. Даже заметил в ответ на комплимент: «Я вожу редко, но быстро» — и самодовольно засмеялся.



Из записок мистера Жабба

Купил себе в магазине для джентльменов-охотников на Pall Mall бархатные штаны упоительно тёмно-зелёного (hunter green) цвета. Сижу, любовно поглаживая себе коленку и говорю самодовольно подружке в джинсах: «Моя-то ножка поглаже твоей будет». Подумал и успокоил: «Но это только в штанах».



Был с визитом у Юли В. Подарил две книжки (а она мне — нет ☺). Сильно изменилась внешне. Перед этим мне говорили, что она давно никого не принимает и что мне оказана честь. Вполне понимаю, рад и благодарен. Говорила, что самое значительное изменение в старости — потеря любопытства, интереса к окружающему. А я это уже чувствую безо всякой старости — замыкание в себе.



Ок. 5 утра на 31 декабря

Решил, что буду встречать Новый Год в ванне с шампанским, фуагра и тазиком оливье и книжкой про Робинзона Крузо.

Смотрел сейчас фильм *The Best Offer* про 63-летнего аукциониста, любителя женских портретов, который впервые в жизни влюбился, а его обманули и обокрали. Ха-ха. Забавно, что героя зовут Virgil Oldman — Вергилий, да ещё старый (т. е., вроде бы, мудрый) — а толку чуть.



Около двух сел завтракать. Вспомнил «Подражание древним» Гитовича:

Если ты пьёшь один — // Плохо ты будешь пьян:
Где же твои друзья, // Старый мой друг и брат?
Нет одиноких людей // И одиноких стран,
Если сами они // Этого не хотят.

Ха-ха. Не думаю.



На пересадке в Минске в окно торчит надпись «Нацьянальны аэрапорт Мінск».

В аэропорту Одессы, напомнившем мне автобусную станцию во Владимире, свора таксистов дружно требует 30 долларов или «хотя бы 700 хривен». (Когда ехал обратно и заказал по телефону, такси стоило 53 гривны). Я бы всё-таки не пускал их в Европу. Ну или хотя бы таксистов.

Город Одесса мил, но обшарпан. И эта обшарпанность милее встречающейся местами свежей краски и плитки. Все в меру приветливы и говорят по-русски — за исключением полового в вышиванке в якобы еврейском ресторанчике, который, мечта на стол какой-то то ли шмальц, то ли зельц, на все вопросы отвечал исключительно на мове.



*February 25, SPb
Новый Холден*

Третьего дня, в очереди, меня опознали. Правда, очередь была не тюремная, а в кинотеатр «Аврора», что на Невском, на «Патерсона». Двое ребятишек (мальчик уже без пяти минут кандидат философии) видели меня в телевизоре и читали мои затменные сочинения про всякие восточные красавицы. А сами изучают восточную философию, отличают брахман от атмана и рассуждают со знанием дела про ИСС.

И я подумал, что некоторый прогресс, пожалуй, есть: в моё время интересанты в основном Сэлинджера читали да всякую муру, перекладенную с английского через десятые руки. Впрочем, как выяснилось, они и мои рассуждения про Сэлинджера читали. Чудно — уж сколько времени прошло. Но, выходит, многое не потеряло актуальности. Я даже с Патерсоном переключку узрел. Хотя,

вероятно, было задумано, что этот фильм возвышает и примиряет с действительностью, но по мне он совершенно депрессивен. Берёт в плен, держит в напряжении (ждёшь ужасное или изредка что-то хорошее, но ни то, ни другое не наступает), но всё-таки давит и депрессирует.

Патерсон — шофёр автобуса с тетрадкой стихов. Он не просто тихий, он заторможенный (будто после контузии или лоботомии). Или задумчивый — в духе левских чудиков — очарованный странник. Причём не столько странствует сам: когда он сам с собой, он сидит на месте — глядя на водопад или в кружку пива, или за рулём с выключенным мотором, — сколько возит других. Самому ему, похоже, ехать особо некуда, да и, наверно, не хочется. Он ещё может поймать других на краю пропасти — вывести пассажиров из подозрительно урчащего автобуса, выбить пистолет у психопата — но для себя у него не хватает энергии (разумности, предусмотрительности) даже скопировать свои стихи. Чем не Холден, вышедший из лечебницы, не справившийся с университетом и жизнью, погрузившийся в тихие глубины вялых эмоций и на всё окружающее отвечающий с задержкой, вымученной полуулыбкой и полным на всё согласием?



*February 28, проезжая мимо станции Чудово
(Дорожный этюд. Исполняется abbandonamente
с переходом в burlesco и обратно)*

Трясаясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал.

Стоп-стоп-стоп. Вагон был вовсе не прокуренный, да и трясло не слишком, а с плачем у него давно было уже совсем невпопад. Вот разве что какой-то квазисонный морок задёрнул пыльной тафтой сознание, и когда

в предрассветном сумраке настырный матюгальник два раза повторил: «Станция Чудово. Стоянка одна минута», он подумал — что за станция такая, где может случиться чудо? Может, можно успеть соскочить с железной птицы сапсана и поймать неведомое чудо за хвост? Он даже невольно встрепенулся в кресле, но вспомнил сходный сюжет, когда неспешно пробираясь с Дальнего Востока на Транссибирском экспрессе, вышел покурить на таёжном полустанке, и вдруг вагончик тихо тронулся, а он остался. И то, что показалось было чудесным приключением и началом новой жизни, чудом в итоге не стало, а растянулось, как и следовало ожидать, блёклой тягомотиной. Так и станция Чудово, чуть не зацепив соблазном чуда, через минуту унеслась назад со всеми своими чудью безоглазой и черноокими чудесницами, причудницами и негодницами — коих там, впрочем, не было и быть не могло.



March 1

*В продолжение темы путешествий
(неостановимо, невосстановимо хлещет пост,
точнее, пост-память)*

Случилось у меня как-то некое квазиамурное приключение. И подумал: ах, как хорошо было бы с предметом моего интереса куда-нибудь съездить и поделиться своими заповедными закоулочками души, коих у меня в разных странах и континентах набралось уж изрядно. И вот, нежась в ванне, записал помысел на бумажку (доска и письменные принадлежности в ванне у меня всегда, как у Марата, наготове) и за вечерним чаем ей записочку под блюдечко подсовываю. А в ней, записочке то есть, сообразно риторическим фигурам речи, начал с антитезы. И до тезы ещё не дойдя, говорит эта нетерпеливая красавица: «Не,

это не про меня», и листочек под стол смахнула. Подумал: вот дура-то! И сразу расхотел везти её на Кавказ.

Да, а текст — вот он:

Есть женщины, с коими приятно путешествовать: они не устают, а если устают, то не ноют; они соглашаются с предложенным маршрутом; они слушают то, что ты им рассказываешь, и восторгаются; они не требуют каждые пятнадцать минут зайти выпить кофе, если мы в городе, и они знают, какой еды взять с собой, если мы на природе. Словом, когда хочется куда-нибудь поехать и не хочется быть одному, пишешь такой.

А есть женщины, для которых, точнее, ради которых, и для того, чтобы быть с ними, придумываешь путешествие — чтобы просто куда-нибудь поехать с нею и быть, на почти законных основаниях, все эти несколько дней вместе.



5 марта

Смотрел «Токийскую повесть» Одзу (1953). Хорошо, но длинновато — да и про стариков, с коими не хотят возиться взрослые дети, всё так понятно. Я был в одной роли, но вряд ли буду в другой. Ха-ха. Поразился тому, что в разных списках он числится лучшим фильмом всех времён и народов. А «Дети райка»?



Придумал сюжет для небольшого романа: философическая переписка немолодого американского писателя и израильского профессора о роковой и непредсказуемой русской красавице, которая с каждым из них спит и никого не любит. Нью-йоркский интеллектуал

и профессор-музыковед европейского происхождения бесцельно топчутся в сумрачном лесу своих давно переваливших за середину жизней, пока их не захватывает разрешение загадки русской души и тела. Они объединяют усилия, делятся историями, ищут ключи у Пушкина, Набокова и Лимонова и приходят к прозрению: у загадочной Татьяны с широкими скулами и неисчерпаемым запасом холодной нежности есть миссия.



Тикондерога тикондерога

Устал тыкать в клавиши, взял карандаш — а он совсем тупой. Другой тоже, и третий. Раскрыл перочинный ножик и стал очинять. Упоительно медитативное занятие! Ощутил себя едва ль не Акакием Акакиевичем.

А какой это щемящий хронотоп — вот Evolution France, вот Koh-i-noor Hardtmuth (от кого?), вот Номер Один Красин, вот совсем свежий Stabilo Swanо, а там — тройка безымянных из лондонского набора. Вот только Тикондероги, собственно, уже и нет. Только память.



Получил письмо от старой подруги из Америки. Пишет, что надеется, что всё в жизни будет хорошо и можно будет поехать куда надо, поговорить с кем надо и «negotiate your happiness». Восхитительный всё ж язык. И вера!



Вспомнил «Текущую жизнь» Зигмунта Баумана, коего встречал в Манчестере. “Liquid life is the kind of life commonly lived in our contemporary, liquid-modern society.

Liquid life cannot stay on course, as liquid-modern society cannot keep its shape for long. Liquid life is a precarious life, lived under conditions of constant uncertainty.”



Много лет назад, когда я был молодым пижоном (сейчас я тоже пижон, но в полном расцвете сил), я начал статью под названием «Феномен человека в японской традиции» словами: «В Доме Публия Корнелия Тегета в Помпеях есть фреска...» Репродукцию этой фрески я увидел, когда готовил к печати книжку Г.С. Кнабе о Древнем Риме. А на днях, отправившись в свой ДР в Помпеи, я сделал себе сюрприз, увидев эту фреску живьем. Совершенно неожиданно, ибо дом этот называется Домом Эфеба (по бронзовой статуе, найденной Амедео Майюри в 1925), а «Тегет», как оказалось, обычно пишется «Таг» или «Тает» (Tages). Но это всё неважно. А важно, что картинка эта тогда вызвала, а сейчас пробудила некие глубинные переживания. (Может, неспроста некоторые печальные нимфы зовут меня нарциссом?)

А полностью моя фраза из той давней статьи выглядела так: «В Доме Публия Корнелия Тегета в Помпеях есть фреска — Нарцисс, отрешённо сидящий перед своим отраженьем, и печальная нимфа Эхо за его спиной. Это изображение в зримой, художественно выразительной и лаконичной форме, быть может, в наиболее характерном и законченном виде отразило присущее западному миру отношение индивида к своему Я и к Другому. В зеркальной глади вод отразился не просто один из сотен персонажей античной мифологии, но — заложенная в глубинных интенциях культуры модель ситуации: человек, отворачивающийся от другого человека, дабы взаимодействовать с самим собой».

Изрядно сказано, а? Да и фреска хороша.



После блужданий по Геркулануму, где я всё твердил себе под нос, что затвердел, как Геркуланум в пемзе, и после непростых Помпей, вспомнил ещё один стишок классика:

На скромную твою Помпею
обрушивается мой Везувий
забвения: обид, безумий,
перемещения в пространстве, азий,
европ, обязанностей; прочих связей
и чувств, гонимых на убой оравой
дней, лет, и прочая. И ты под этой лавой
погребена. И даже это пенье
есть дополнительное погребенье
тебя, а не раскопки древней,
единственной, чтобы не крикнуть — кровной!
цивилизации. Прощай, подруга.
Я позабыл тебя. Видать, дерюга
небытия, подобно всякой ткани,
к лицу тебе. И сохраняет, а не
растрачивает, как сбереженья,
тепло, оставшееся от изверженья.

Пришёлся кстати, но, как оказалось, ненадолго.



Причуды библиографии

Или всё-таки ментальности? Или чего накурился тот безвестный умелец в Ленинке, который описал мою книжку,

как исторический труд под рубрикой «Япония в период общего кризиса капитализма (1918—)» ??? Я это обнаружил только что в каталоге РГБ.

Приближение к Фудзияме [Текст] / Евгений Штейнер. — Москва : Слово, 2011. — 359 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 23 см.; ISBN 978-5-387-00276-2 (в пер.) История. Исторические науки — История зарубежных стран — Япония — Япония в период общего кризиса капитализма (1918—)



Зашёл на сайт Московского Дома книги, а там всех «обладательниц прекрасного пола» поздравляют с 8 марта. Это доминирующие лесбиянки (duke — не знаю, как по-русски) имеются в виду, что ли? Я бы ещё понял, кабы такое поздравление было на сайте магазина напольных покрытий и адресовалось бы тем, кто купил какой-нибудь прекрасный линолеум. Тошнотворная смесь старых советских праздников и нового одичания.



Был на заседании Кадровой комиссии — я, оказывается, член и, что совсем уж странно, соискатель. Дал список последних работ: две книги и десять статей. Совсем подчас забываю, что что-то там такое ещё прядётся.



Un po 'misanthropico

Провёл в депрессии, постели и Фейсбуке полдня Лениво, тупо и чуть обсессивно листал и кликал.

Читал, смотрел и слушал чужую жизнь —
взяв затянувшийся таймаут у своей.
Подумал, что это похоже на отставного судью
в фильме Кесьлёвского «Красное»,
который бесцельно подслушивал разговоры
едей —

с той разницей, впрочем, что
он **подслушивал** чужую жизнь,
приватную и спрятанную за стенами
и телефонными проводами,
а здесь даже частное — напоказ:
смотрите на меня, завидуйте мне,
смейтесь со мной, пожалейте меня.



March 17

Вид с кухни на прерафаэлитов

Увидел в одном забавном контексте (в посвящённой мне песенке ЮБ) сочетание своего имени с прерафаэлитами и деменцией и вспомнил. С 2006 до 2008 я жил или основательно бывал наездами в Манчестере, в доме под названием The Art House, на углу Джордж-стрит и Принцесс-стрит, и окна нашего с Патечкой обиталища выходили на Художественную Галерею. Она славится отменным собранием прерафаэлитов, коим я мог любоваться прямо из своего окна. Помню, как я иногда подолгу глядел в окно на интерьеры, картины и посетителей, когда не писалось, или в другое, на кухне, — когда помещивал удон в кастрюльке и напевал про леди Годиву с распушенной рыжею гривой. Стишок этот я помнил лет с семнадцати, когда прочёл американский том Манельштама в самодельной книжке, пахнувшей проявителем-закрепителем, поскольку она была сделана из переснятых и напечатан-

ных на фотобумаге страниц. Образ Годивы всегда ассоциировался у меня с печально-порочными губами архетипической модели Россетти, от вида которых что-то сладостно замирало внутри, но после близкого знакомства окна в окна (или губы в губы?) я стал спокойнее к этому типу.

Иногда бывало наоборот — из музея я смотрел через узкую Джордж-стрит в своё окно, и так странно — личное пространство как бы отчуждалось, а музейное одомашнивалось — было видеть свой стол, а дальше П., под лампой, в окружении книг и бумаг.



March 21

Получил письмо: «Спасибо, что поддержали проект “Социальная реабилитация бездомных”! Благодаря вашему пожертвованию у сотен бездомных людей Санкт-Петербурга есть шанс выбраться с улицы».

Удивился, ибо уже позабыл, что я что-то им посылал, а паче всего поразился: чего это меня вдруг на питерских повело? Что мне Гекуба? И вспомнил, что в том умышленном городе, когда видел бездомных, было их особенно жалко — среди мокрого мрака и ветра, вытирающего бока, и нет того, кто б мог помочь...



Когда постранствуешь, воротись в (свой?) город, знакомый до слёз, то они уж тут как тут — то ли то дым отечества глаза ест, то ли аллергия на клейкие листочки и вот это вот всё... Короче, на утро по приезде пришлось отправиться в аптеку за мазью для глаз.

«Такой мази у нас нет, мужчина», — сказала тётка, на одной из мощных грудей которой лежмя лежала этикетка «Инга-провизор». — «А вы возьмите лучше вот эту мазь — “Мужская сила”».

«А она тоже от глаз помогает?» — искренне не врубившись сразу, спросил я.

«Про глаза не скажу, — честно отозвалась провизор, — но по мужской части многие хвалили». После чего потупилась, а этикетка сама собой колыхнулась.

Я застенчиво отказался, а теперь думаю: может, надо было взять — глядишь, помогла бы «Мужская сила», как Товиту рыба желчь, и я увидел бы горних ангелов полёт и гад морских подводный ход, и на вот это вот всё взглянул бы умильно...



Нас любят и забывают

Хотел посмотреть объяву про свою презентацию в одном приличном месте, не нашёл, зато наткнулся на их сайте вот на такое занятное упоминание:

Бюро Находок

Дорогие друзья!

У нас скопилось большое количество забытых вещей. Мы будем рады отдать их владельцам.

1. Платок (шарф)
2. Крышка для объектива фотоаппарата Canon Ultra Sonic
3. Очки
4. Зарядное устройство для телефона Nokia
5. Зонт-трость мужской

6. Ремень синий поясной
7. Книга из Библиотеки ГМИИ (автор: Е. С. Штейнер)

Воображение мигом нарисовало картинку, как по велению мадам Антоновой и её клеветов мои книжки сжигали, а кто-то, рискуя жизнью и отстреливаясь, выхватил из огня, донёс до Иностранки, а там перебростил через порог и умер от ран.

Да, а на ремень синий поясной я бы поглядел.



Позвонил приятный мол. чел.: «Приглашаем вас на ТВ передачу “Любовные традиции Японии”».

Я: «Спасибо, это моя тема, могу, пожалуй, всё рассказать и весёлые картинки показать. Какой у вас формат — дискуссия про пиндосов или обиженные верующие, ратующие за передачу сюнга в рэпэцэ, не предусмотрены?»

— Нет, что вы! Вы да я в кадре, я спрашиваю, вы отвечаете, всё академично. Приезжайте к нам на Ботанический сад, не пожалеете.

— Да? А сколько длится передача?

— Час.

— Т. е. это беседа на час? Что ж, пожалуй, можно.

— Нет, извините, это вся передача один час, а японский блок — 5 минут.

— Т. е. как: я буду в кадре пять минут, и всю японскую любовь должен в эту пятиминутку уложить??? Да я только к foreplay приступаю.

— Хе-хе, ну не совсем так. Вы будете говорить, а мы потом нарежем и дадим кусочками по 20 секунд. 3 фрагмента экранного времени я вам обещаю.

Тут я просто поперхнулся и не нашёлся сказать, что за 20-секундными тремя разами им нужно обращаться к озабоченным подросткам. А я это делаю не так.



Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук, но я все-таки люблю свои развратные привычки поздно обедать с грюйером, стилтоном и вином, тянуть коньяк во время писанины и покупать табак из бочонков у старого табакониста Билла на Ст. Джеймс-стрит... Какие только profession de foi не придут в голову, когда за окном уж рассветело, а сна ни в одном глазу.



Иногда всё-таки ещё хочется

Однажды мне довелось колесить в машине с подругой по просёлочным дорогам Польши. Искали мы городок Томашув. Нашли сильно за полночь и заночевали. И в целом мне всё там не понравилось (в смысле на этих дорогах и вообще). А сейчас вдруг подумал, а может, снова...

A może byśmy tak, jedyna,
Wpadli na dzień do Tomaszowa?

Решил поехать с Б. в Индию, в Ришикеш, где сейчас Адвая. Там главный в мире центр йоги и некий провидец, который всё про тебя (т. е. меня) знает. В Ришикеше у Махариши были в 1968 «битлы». Смешно.



Прошлой ночью приснилось (вероятно, после просмотра *The Gloomy Sunday — Ein Lied von Liebe und Tod*), что я где-то в степи на полустанке и должен куда-то ехать — а ехать не на чем, и красные приближаются (или белые — какая, в общем, разница). И подошёл товарняк. Спросил, робея, машиниста, когда тот выходил из кабины: можно? Возьмёте? Он ответил, ладно, залезешь, когда я вернусь. Я забросил в высокую теплушку свой неуместный «самсонайт», а сам около ждал, пока он придёт, и несколько раз, подтягиваясь, залезал посмотреть, как там мой чемодан. Проснувшись, так и не узнав — уехал он, купленный в предыдущей жизни в Париже, один или всё-таки со мной.



22 марта

Приснилась Майя Плисецкая, которая сурово выговаривала за то, что занимаюсь политикой. «Помилуйте, Майя Михайловна, я вовсе не занимаюсь, вот только похвалил за грандиозное мужество НН!» — «Не за что её хвалить, и вообще, у неё ноги кривые. Приходите лучше вечером, поможете мне восточных людей принимать».

Пришёл, открыла. «Пока их нет, скажу вам кое-что важное, отойдём к окну — там прослушка не достаёт». Но только начала — звонок. Ввалилась шумная толпа индийцев. Я — по-американски — представился, а индеец молчит. «А вас как зовут?» — спрашиваю, широко улыбаясь. «Это неинтеллигентно — спрашивать имя», — чуть не возмущённо говорит он. На что я изумленно: «А вы интеллигент? И много у вас интеллигентов?» — «Да. Миллионы!» Я, с лёгкой язвительностью: «А на каком языке: урду или малаялам?» Не помню, что дальше, но когда стали рассказывать, мне не хватило стула и пришлось сесть на

пол — и моя голова оказалась на одном уровне с мелким малаяламским интеллигентом. «Это чтоб ты не надмевался в следующий раз», — подумал я покаянно про себя.



«Твоё горе шито белыми нитками», — услышал во сне. Проснувшись в недоумении. Кто бы это мог так выразиться?



Придумал себе конференцию, чтоб поехать в Грузию и, готовясь к докладу, узнал, что умерла Беата Воронова. 90 лет. Красавица, урождённая Певзнер. Некролог на сайте Архива ГМИИ. Могли бы и сообщить. А впрочем, они делают вид, что меня вообще нет и никогда не было. А к Беате у меня всегда были сантименты. Иначе б и за каталог не взялся.

Ещё умер Ион Деген. Написал про них в одном ФБ посте — с приведением «Мой товарищ...» Днём спустя разродилась ЮБ: «Если без валенок, то вот это...» (и дала другое стихотворение). Г-ди, какой нетонкий снобизм — внешне по отношению к постящим «Валенки», а по сути — к почившему поэту. А вот другая Юля — М. — про него фильм сделала.



В Тбилиси познакомился с целым выводком девушек, включая пожилую лойершу Рейчел из Аризоны. Трогательно-домашний ресторан «Пурпур» на тенистом сквере Ладо Гудиашвили с не менее трогательной МК, которая сказала, что идёт назавтра в театр Резо Габриадзе.

Утром отправился пешком в университет. Оказался советски-монументальным — длинные коридоры, бюсты отцов-основателей, несколько мелких музеев. В аудитории был суперновый touch-screen Samsung, который, увы, не работал — не реагировал на флэшку — и с презентацией вышла заминка, которую, впрочем, оперативно и без лишних эмоций исправили.

Потом был визит в Art Palace, дворец князя Ольденбургского и некоей красавицы, которую князь перекупил у мужа, вдвое её старше. Там увидел коллекцию кукол и сказал Ирине-директору, что хотел бы в театр Габриадзе, спектакли коего не видел много лет — с нью-йоркской своей жизни. Ответила, что это очень сложно, но сделала несколько звонков. В итоге на входе меня ожидал билет «от господина Резо», что, кажется, произвело некоторое впечатление на Марфу.

Театр мил. Но спектакль оказался не очень. Грустная история про попугая Борю — «Осень моей весны». Как сказано было в программе, “a story of a journey through dreams, despair, anger, and joy” — ну прям праминя. Попугай жил у стариков, которые по очереди умирали, а он влюбился в женщину — т. е. представительницу другого биологического вида (и это мне свойственно до некоторой степени) и т. п. В общем, попугай иудейской породы, с безнадёжно неправильным носом, как пел один нью-йоркский поэт, тоже Певзнер, кстати, как и бедная Беата... В спектакле время от времени сцену пересекал грустный велосипедист с носом, касавшимся руля, и бормотал: «Барух ата адонай». Было много советизмов — не уверен, понятно ли это сейчас, особенно местной молодёжи, которая уже плохо говорит по-русски. Зато рядом сидела девица, которая, когда я чихнул, сказала «Будьте здоровы» по-русски. Я машинально ответил по-английски, и она легко перешла на

этот язык. Сказала, что проездом из Индии в Москву. Занятно — но совсем не симпатична.



Грузины ужасно симпатичны — особенно, грузинки. Солидные носы и губы — чувственные и часто надменно-скорбные. Все поголовно в чёрных колготках — ну, т. е. не поголовно, а — ну вы поняли...

Но зря всё же они сделали Музей советской оккупации, 1921–99.



9 Мая весь день слушал песенки Окуджавы, чего не делал уж несколько лет как. Проняло, как и раньше. А то, что про него малолетняя шпана в последнее время говорит — ну так она шпана и есть. Что с того, что из семьи большевиков и был на передовой недолго, пока не выбыл за ранением. Те, кого убили в первом или втором бою, воевали ещё меньше. Не повезло ребятам. А Окуджаве повезло — как повезло потом и всей эпохе, которой он дал голос. Первое — не его вина, второе — его заслуга. И вообще, как писал другой фронтовик, прошедший от и до, Давид Самойлов, в стихотворении «Поэт и старожил», «Ты это видел? — Это был не я».



Шёл я себе из гостей, расфужен и пьян, с двух бутылок анжуйского розе, и дай, думаю, зайду в Музей АЗ, по случаю Ночи музеев. Там сегодня как раз выставка «Игра» открылась — с самим Зверевым, Немухиным и Краснопевцевым, а также мультимедиа Платона Инфанте. Весьма пристойная экспозиция. Погрустил маленько —

сколько лет прошло, как Зверев с меня портрет писал, или как я с Краснопевцевым в подвале Пушкинского чай пил... Купил на память шарфик с принтом зверевской абстракции — подарю при случае подружке какой.

Иду дальше, кругом гулянье, переходящее в кермессу, а во дворе Английского клуба, он же Музей революции или как их теперь назвать, — толпа. Дай, думаю, зайду и туда — Ночь музеев ведь, так то нестыдно, сольюсь с народом. Ан нет. Посмотрел вертухай мутным взором на мой английский костюмчик, спросил: «В списке есть?» — и не пустил, ласковой улыбке не вняв, и пошёл я собянинскими чудо-фонарями палимый, по Тверской-Ямской да по...

И тут женщина, лет 40–45, останавливает меня робко и вежливо. Одеты скромно и чисто, лицо приятное, волосы русые, могла бы быть учительницей литературы или библиотекарем. И говорит: «Не поможете ль на хлеб». Я ошеломлённо-смущённо полез в бумажник, хоть избегаю нищим на улице подавать, но эта нимало не похожа, и ведь нехорошо же не дать сто рублей, когда я только что потратил шесть тысяч на какой-то драдедамовый платок с принтом зверевской тряпки, коей он кисти, небось, вытирал. А она тем временем, чтоб, видно, праздно не стоять, продолжает: «К Матрёне вот в монастырь ездила, вся потратилась...» Тут вынутый бумажник задрожал как закушенный калач. В какой монастырь, к какой Матрёне — вот так милая интеллигентная учительница. Сунул ей бумажку и пошёл дальше, весь в сложных и неадекватных чув-вах.



В воскресенье был с дорогим Твином в стрелковом клубе. Три юных амазонки порхали вокруг, помогая прикладывать стрелу к тетиве и принимать самурайскую осанку,

но результаты были от досадного до плачевного. Впрочем, добрый Твин утешал, что у меня хотя бы с первого раза получалось спустить, а это умеют не все. Ну что ж, приятно знать, что я хоть спустить умею. Ээ, кажется, это всё-таки переходный глагол. Потом воительница отвезла меня восвояси, а я угостил её рыбкой и вином Шабо, привезённым из Одессы.



28 мая

Третьего дня читал два пары в программе, совместной с Лондонским университетом, — неприятно-невоспитанные дети. Будущие экономисты, эффективные менеджеры. Не уверен, что они адекватно понимают, о чём речь, особенно по-английски. А я-то, готовя слайды, увлёкся и решил дать свои — из Арля (St. Trophime) и St. Jago de Compostela. Нашёл своё смешное фото на паломническом пути, снятое Патечкой. Эх.

Потом отправился с Галей К., явившейся с какими-то учёными вопросами, в Дом русского зарубежья на вечер, посвящённый А. В. Бари. Ожидал увидеть Любу Ч. — и увидел.

На следующий день — на открытии выставки «Сюрреализм в стране большевиков» в Галерее на Шаболовке — со Ст. Видел Гаса и Мака и Надю Плунгян. Подошёл поздороваться Фомин — который толково писал про детские книжки. Потом — в кафе «Кусочки», имитировавшее советские кухни с юными подавальщицами в виде пожилых тёток в махровых халатах и волосами, намотанными на трубочки-бигуди.

Сегодня — на закрытие в Еврейский музей, где экскурсию проводил Андрей С. и где встретил трогательно-смешную Полину, которую в прошлый раз

смешил (или потешал), разговаривая с иностранным акцентом.



Получил рассылку-приглашение:

«...Постепенно усиливая динамику раскованного подвижного штриха, словно отсылающего зрителя к образу обманчиво простых линейно-пружинных сплетений, он неизменно совершенствует бесспорную уникальность собственного графического высказывания. Именно его нерушимая гуманистическая закваска...»

Как подумаешь, что и я в юные годы был умельцем таких линейно-пружинных сплетений, — аж заколдобилась.



И вышел мой табак

Уж несколько дней, как не могу себя заставить встать и выйти за табаком. И работу не делаю. Смотрю мультики (вроде *Madame Tutli-Putli*).



К вопросу о культурно-национальных особенностях, или Их нравы

Встретился со старым приятелем, поговорили о жизни, у каждого одинаково прихотливой и по-разному неупорядоченной.

— Вот, — говорю, — бывает такой неловкий момент перехода, — сидим у меня за полночь с новой подругой. Вино выпили, всласть натолковались о Данте и о движении князя Ипсиланти, обменялись томительными вздохами и велеречивыми взглядами и...

— Ничего нет проще, — говорит приятель. — У меня на сей счёт есть формулы. «А сейчас, — говорю я, ласково улыбаясь, — у нас есть два сценария развития. Первый американский: я начинаю страшно, т. е. страстно, дышать и сопеть, бросаюсь на вас, припадая и срывая покровы, мы падаем на пол и некоторое время катаемся по ковру, задевая о ножки стола и освобождаясь от одежды, после чего я, наконец, поднатужившись, бросаю вас на кровать.

Сценарий второй, японский: Я выдаю вам банные принадлежности, мы идем по очереди в душ и встречаемся в койке».

— Эээ, — с сомнением сказал я, — а никто не спрашивает, нет ли третьего сценария?

— Спрашивают! — ликующе сказал приятель. — И я его немедленно выдаю: «Сценарий № 3, хипповый. Save water: shower together!»



Лето, День защиты детей. В «Хлебе Насушном» на Остоженке, куда отправился с поклонницами залить тристию после лекции, сидит у окна хипстерски-бомжеватая старушка лет восьмидесяти в меховой треуголке и заячьем тулупчике без рукавов.

Когда я выходил, она улыбнулась и показала мне палец. Большой.



Затеял разборку завалов и увидел, что набралась стопка детских футболок и книжек — лежат давно, из разных стран и разных размеров, их коих дети постепенно вырастают.



Прочёл переводное описание фильма ужасов: «буянит беспорядок и погибель».

Теперь я знаю, что отвечать на вопрос «как живёшь?». Глаголы буду иногда менять: вместо «буянит» — подчас «мелко тусит» или «в койке валяется».

Сэру Полу — 75!

«...бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел “Let it be”, а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое».

Ну да, не только петь — жить сложно. Впрочем, откуда он взял, что это дочь?



Бывает, что собираешься куда-нибудь вечером, но пока встанешь, позавтракаешь, сядешь за стол да откроешь ноут, уже темнеет, и надо встать и идти на задуманное мероприятие. Но встать неохота, так никуда и не идёшь. Ещё бывает, что откроешь к завтраку холодильник и вспомнишь, что он уже пару дней, как практически

пуст. Ну, думаешь, утром есть много вредно, а вот к обеду непременно вылезу из берлоги и пойду принесу два мешка сразу на неделю. Но вот настаёт шесть-семь или даже восемь, и понимаешь, что вылезать за едой в лом. Думаешь: есть ведь, кажется, ещё немного удоа, шоколада и сухого натто. И остаёшься ещё дня на два.



Из ненаписанного романа

«Он оторвал крышку с баночки йогурта и с удовольствием облизал её, как он делал всегда, завтракая наедине с собой, и тут же смущённо взглянул на неё. Рядом с её баночкой лежала чисто вылизанная фольга, а острым кончиком языка она слизывала с уголка губ заблудившуюся там каплю».



Решил жить культурной жизнью, отправился, по наущению и в компании с С. в Школу современной пьесы, что на Сретенке, в бывшем кинотеатре «Уран». Вспомнил, как был там давно на спектакле «Узкий взгляд скифа», где познакомился с В. Мартыновым и юной Ю.

«Опус № 7» — режиссёр Крымов. Первое отделение по Л. Рубинштейну «Её звали Циля» — интересно про еврейских родственников, смерть и исчезновение, жалкие потуги памяти. Сильно с выдуванием бумажек из отверстий, как печей. Второе же отделение — про Шостаковича — просто потрясло. Маленькая девочка играет Шостаковича — Кристина Пыльнева (?). Как воробышек взъерошенный. Бегаёт от преследования государством —

пятиметровой бабы с пистолетом. Жуть. Или битва жестяных роялей. Жесть.



Прошёл кинофестиваль, в коем принимал призрачное участие в роли члена азиатского жюри, в силу чего фигурировал по красной дорожке в прихотливых комбинациях красавиц на открытии и закрытии. А год назад был в это время на Менорке, а два — в Париже. Калейдоскопиченько так.



Заметки члена жюри

Фильм был очень плохой; банкет по его поводу — очень хороший. Ставлю итоговую четвёрку.



Привязалась песенка:

I am a man of constant sorrow,
I've seen trouble all my day
I bid farewell to old Kentucky,
The place where I was born and raised
(The place where he was born and raised)

For six long years I've been in trouble,
No pleasures here on earth I found
For in this world I'm bound to ramble,
I have no friends to help me now
(He has no friends to help him now)

Это поют мужики из тюремной группы «Влажные задницы» (*Soggy Bottoms Boys*).



Мои слова

«И те, от кого уж никак Её не ждёшь — казалось бы, всё при нём/ней — а туда же: «острое чувство неправильно проживаемой жизни» (ЮМ).

Отличная колонка. «Эй, депрессивный, расслабься, только чувство, что всё наладится, заставляет тебя страдать. Ничего не наладится. Живи как есть». Kudos, Julia!



7 июля

Лечу в Лондон, а оттуда в Норич. В аэропорту окликнула незнакомая девица, которая сказала, что я прошёл нужный выход на посадку, ибо мы летим с нею на Мальту. Оказалось, она летит на Летнюю школу, в коей меня просили участвовать и попросили силлабус своих лекций, после чего заявили, что Школы не будет. Меж тем, моя физиономия и мои темы красовались на сайте Школы, на что и клюнула эта девочка — заплатила большие деньги за участие, а теперь была заметно фрустрирована тем, что меня там не будет. Неприятно. Девочке я велел жаловаться и требовать деньги взад.



In Norwich remembered Stacy: tender, smooth, and skin-wise compatible. Funny. Some strange longing. Those

were the days, my friends, with lots of laugh, poking, and riposte. Humble Mancunian background but impressive knowledge of music, theatre, dance, martial arts, and BDSM practices.



Залетел за Б. в Израиль, отправились в Германию. Сплошные мельканья: с Кристиной и Катрин в Галле, с Леной и Соней в Дессау, с Карен в Кведлинбурге. В Берлине купил вино Dr. Steiner и стальные перья для чистописания одной прилежной ученице.



В Тель-Авиве на столике у изголовья обнаружил томик Розанова, изданный в Мюнхене в 1970. Открылось на с. 109, взгляд упал на большие буквы: «Расстаюсь с ним ВЕЧНЫМ РАССТАВАНИЕМ». Ха-ха, к чему бы это. И вообще — что значит «вечно»?



Сон: я через подземный туннель на севере Израиля вылезаю в Ливане — на краю высокой горы. Передо мной — котловина, на другой её стороне — древние развалины, неплохо сохранившееся, врезанное в склон скалы огромное сооружение вроде комплекса царицы Хатшепсут. Красота, величие, безлюдность. Очень хорошо помню, как поднимался (а потом спускался, уходя) по узкому вертикальному колодезю. Нашёл там какую-то мелочь, положил в карман. Лёжа рядом с туннелем и глядя на широкую долину-котловину, сравнивал вид её с подробным планом на хрусткой старой бумаге, который принёс с собой. Чув-

ство открывателя. Но спускаться в долину не стал, а полез обратно в свой колодез.



Нашёл случайно странный текст, показавшийся смутно знакомым:

«Дорога, одиночество, я.

Когда я была маленькая и глупая, я написала труд о жизни и смерти под названием “Современная философская танатология”. Точнее, это была дипломная работа в МГУ, где склонялись и Гегель, и Сартр, и Ницше, и шли мои рассуждения про наше время — постпостмодернистское, постницшеанское, в котором Бог, автор и человек (как философская категория) уже умерли, а значит нам ничего не остается, кроме как “смертию смерть поправ”, возродиться для новой жизни, соткав для себя новую формацию Возрождения, Неовозрождение. Я для себя нашла её в латинском выражении “*via est vita*”».

Глядя, где-нибудь в Италии или Англии, на римские дороги, я не раз пыталась понять психологию этих людей, которые вручную мостили дороги в неизведанный варварский мир, и обутыми в сандалии ногами грузно топали по своим дорогам в этот чужой (и обычно враждебный) мир, чтобы сделать его своим, окультуренным. Какое при этом одиночество испытывали они в мире — «философ на троне» Марк Аврелий (проведший на самом деле жизнь не на троне, а в палатке и в седле), или Константин Великий, родившийся в заштатном городишке в Мезии (ныне в Сербии), учившийся в Никомедии (ныне безнадежно турецком Измире), усмирявший диких пиктов из лагеря в невеликом и ныне английском Йорке, и отправившийся оттуда в Рим, чтобы стать императором. О чём думали

они, пересекая континент из угла в угол, пешком, в носилках или загоняя лошадь вскачь? — о большом мире, маленьком человеке, о своей большой миссии, похожей на бесконечную дорогу?

Пролетая над Европой или просвистывая в «Евро-старе» в два часа дорогу меж Лондоном и Парижем (на которую д'Артаньяну понадобилось несколько дней немислимой гонки), я думаю, что мир стал маленьким, но люди не стали больше, а миссия каждого в мире стала неразличимо для самого крошечной. Коллеги, родственники, друзья, френды и френдессы — незнакомые и виртуальные, но засоряющие вполне реально твой ментальный и эмоциональный ландшафт... Весь этот мир, пытающийся тебя уловить и тянущий щупальца из каждого гаджета и вай-фая, отступает в дороге. «Выхожу один я на дорогу, — сказал поэт. — Прedo мной кремнистый путь...» Путь к себе. Недаром в дзэнских монастырях учеников называли «вступившими на Путь» — и был ли то Путь Будды, или путь жизни, или путь к просветлению — это у кого как получалось. В любом случае это был путь одинокого (иногда на людях) самопостроения.

О восточном пути, японских поэтах-странниках, монахах-перекати-поле мы разговариваем с моим любимым другом Евгением Штейнером, жителем Нью-Йорка, Токио, Лондона, перипатетиком, для которого путешествие даже не способ и не метод, а единственная форма бытования. Сегодня он в Москве. Путешествие катализирует чувство жизни, говорит он, точнее, себя-в-жизни. Когда ты на дороге один, ты взаимодействуешь непосредственно с дорогой и миром и со своими чувствами, навеваемыми этим миром вокруг. Не надо опосредовать впечатления разговорами (пусть важными, но несвоевременными) или сопереживать ламентациям подруги, которая сообщает, что она натёрла ногу, с работы прислали дурацкий и-мэйл и надо, наконец, куда-нибудь зайти и выпить

кофе. Когда ты один перед портретом Рембрандта в музее, или сидишь на красивом холме, или стоишь в одиночестве перед пирамидами (верблюды и их погонщики не в счёт), ты сам себе камертон — и в тональности, и в темпе-ритме-звучности твоего душевного отклика. К тому же, чем больше едешь, чувствуешь и знаешь, тем больше всякое путешествие превращается в memory trip (по волнам моей памяти). Нередко реальность, зафиксированная сетчаткой и камерой, оказывается бледнее, чем картинка моего воображения. Впечатление от увиденного оказывается намного невзрачнее вымечтанного. Одинокое путешествие — это “Eyes wide shut”, когда глаза попеременно широко раскрываются на увиденное и захлопываются, ещё шире обращаясь внутрь себя — увидеть свою собственную “Traumnovelle” — которой в своё время вдохновился Кубрик. Поэтому одинокое путешествие тоньше и корректнее в отношениях с собственной памятью и душой.

С другой стороны, как сказал кто-то из путешественников XIX века, глядя на пирамиды, вспоминаешь о далёких близких. Многим, наверно, даже самым интровертным одиноким странникам, знакомо острое чувство грусти и радости, когда хочется повернуться и молча поймать взор спутника, который заполнен тем же пространством, что и твой. Но найти со-путника, у которого те же самые ассоциации и реминесценции, эмоции и вздохи — непросто. И в этом кроется неизбывная грусть одинокого путешественника — да, это отношения с миром один на один, это путь к себе, но — все твои обновлённые чувства остаются внутри тебя, мысль, не артикулированная в диалоге с другом, остаётся недодуманной, впечатление погашено. Вот почему нередко, в определённые моменты жизненного пути, на том или ином одиноком перекрёстке, роль собеседника отводится дорожному дневнику — от солилокий того же Марка Аврелия до «Дневника стран-

ствующего философа» графа Кайзерлинга и до дурацких фоток «В контакте», которые немо кричат: «Смотрите, как там было красиво. Как жаль, что вас не было с нами. Разделите со мной».

Смешно. Это я когда-то для гламурного журнала, т. е. для ФФ, написал, а она внутрь моё имя вставила.



Снился чудесный город — с пиниями под синим небом, с акведуком вдоль старой мощёной дороги, над которой лишних роз к нам свисали цветы и по которой мы шли с NN, смеясь и держась за руки, и она не ныла, что мы заблудились и ей пора пить кофе.

Проснулся и, ещё блаженно улыбаясь, стал соображать, что это был за город, а когда по косвенным деталям — как в табачном киоске покупали билет на автобус — восстановил, вдруг понял, что в этом городе я был не с NN, а раньше — с MM, а с NN я гулял в не менее средиземноморском, но другом, месте.

О причудливый микс памяти! О блуждающие сны!

Как сказал поэт, ты заблудился, сновидец! Не тот это город, и дева не та. А та — в поля отошла без возврата и превратилась в едва проступающий слой палимпсеста.



Как-то недавно я отозвался об одном малознакомом, но симпатичном: «Он — толковый парень». Вдруг вспомнил, что Лосев так сказал мне при первой встрече: «Аза говорила, что ты толковый парень». Ему было за девяносто, а мне тридцать с небольшим. А когда говорил я, мне было шестьдесят, а тому «парню» — под пятьдесят. Смешно.



Смотрел сегодня «Укигуса» («Плывущая трава», т. е. перекасти-поле), фильм Одзу о странствующих актёрах (1934), а потом вдруг сел читать «Дядю Ваню». В фильме главный герой Кихати, сорока с чем-то лет, потеряв всё, садится в ночной поезд и едет в какой-то случайный городок, чтобы начать снова. А дядя Ваня, сорока семи лет, никуда не едет — остаётся покорно вести счета в не своём доме. Впрочем, что он куда-то может уйти, ему и в голову не приходит — куда он может! А в этом имении он может жить до смерти, тринадцать пустых лет. Формально и Кихати мог остаться — старая любовница приглашала жить у неё, — но он ещё на что-то надеется и уходит. К тому ж случайно встречает на вокзале бывшую любовницу помоложе, которая охотно к нему присоединяется. Как и на что жить будут — непонятно — ибо никак и не на что. Но наш Чехов всё-таки побезнадёжней будет.



Про Аки-чана и cultural differences

Много лет назад читал рассказ, в коем неприкаянная американская девица не первой молодости отправилась в Японию лечиться от тоски и там, пропитания ради, учила местных английскому.

Среди учеников был угловатый увалень с нетипично крючковатым носом, лет на 15 её моложе, коего она называла Аки-чан, сократив его природное наименование типа Акихабарая. Возник роман и кончился через пару месяцев какими-то слезами и соплями. Он кричал: «Я не Аки-чан!» и корчил рожи, убегая. Она рыдала «Аки-чан, что я делала не так?» и думала о мучительном возвращении в Канзас.

Наверно, не надо ей было звать лишённого юмора туземца этим именем из её собственного причудливого мира предпочтений.



October 1

Attended the Hortus Musicus Recital in the Peter and Paul Lutheran Church. Arvo Part, Knaifel, Silvestrov, Eespere, Peater Wahi... Just stunning. Simply awesome. Was fasting all day and, perhaps, the senses were quite raw... First, my depression seemed to be tripled but at the end, there was a feeling of something cathartic.



«Как с древа сорвался предатель ученик...» — читая Ковалю в его баньке в деревне Оденёво, что близ Феропонтова, куда зачем-то отправился по приглашению Ю.Ю. Верно, а дальше у Пушкина ещё идёт «взвился» — с ударением на последний слог. Это я к тому, что недавно И. заметила, что я как-то странно произношу «родился» — с ударением на «я». Я никогда не обращал на свой идиолект внимания, но на всякий случай смутился и сказал, что, наверно, я так научился у бабушки, а у неё, может, так в гимназии говорили. Потом ещё посмотрел в орпозическом словаре Аванесова: первым стоит «родился» — с на «я», а вторым — «и». Кстати, интересно, почему у авторов словарей русского языка такие странные фамилии — то Аванесов, то Розенталь, или просто Даль с Фасмером.



Трясаясь в прокуренном вагоне из Вологды, вдруг страстно захотелось послать смску, как некогда Наполеон Жозефине: “Ne te lave pas, j'accours”.



За обедом пришла в голову фраза: «Я всё время сдерживаю рыдания» — то ли из женского романа, то ли сам сочинил. Вспомнился к тому ж персонаж из “Felicia’s Journey” Эгояна — который набивал курочку всякой изысканной требухой, приглашал девушек на обед, а потом закапывал их в садике. Кажется, его играл Джим Хоскинс, которого мы видели потом с Патечкой на сцене в Лондоне и, кажется, он уже умер. А в фильме он вешается в конце. Фильм этот впервые видел по выходе его в 1999 в Нью-Йорке, в зальчике близ Astor Square, с CJ. Первый фильм Эгояна, «Экзотика», видел в Токио с Тидзуко, а потом ещё «Арарат» в Линкольн-синема с П. Ох уж этот извилистый rabbit trail поздних одиноких обедов.



Застрял на кухне до утра с бутылкой и трубкой и блюзами Луизианы Рэд: “Alabama train, why don’t you take me home... back where I belong.” А между тем доделал учёную книжку и пошла завтра в издательство. А по поводу этих блюзовых рыданий “where I belong” — лучше бы они все молчали. Какая к чёрту принадлежность, кто ждёт этого дурака, когда он наконец накопит на билет, и привезёт его это поезд курьерский Воркута-Ленинград, т. е. Алабама-Чаттануга-чучу, в то место, что он давным-давно покинул.



16 декабря, в самолёте, in my flying office

Стал читать Аниту Брукнер *Hotel du Lac*, который купил 25 ноября в Waterstones, рядом с Аннабель и Стэнли, когда шли с К. к ним на ланч. Почему-то я люблю читать Аниту Брукнер: это уже мой третий или четвёртый её роман. Мне нравятся герои: одинокие, рефлексирющие, не сильно связанные с обществом работой или родственными узами; позволяющие себе скромные излишества; но живущие без излишней уверенности в завтрашнем дне — материально или социально; томящиеся большим количеством времени, которое не с кем разделить, да они и не стремятся, хоть испытывают всё то, что есть у тех, кому есть с кем и чем поделиться, но держат дистанцию и скорее избегают контактов, нежели на них идут. Они, я бы сказал, впечатляющиеся (impressionable), чтоб избежать слова «ранимые». Впрочем, эти характеристики стали подозрительно кого-то напоминать. Вернусь к Аните Брукнер.

Она, дочь еврейских эмигрантов из Польши (и потом Кавалер Британской империи), всю жизнь писала романы и имела day job — профессорствовала в Кембридже и Институте Курто. Она занималась чем-то европейским (XVIII век), кажется, я её немало не читал, но имя издавна и нередко слышал. Имя, как искусствовед, было не знаменито-модное, как у полудюжины европейских искусствоведов (для этого надо обычно переписать историю искусства по-женски или по (анти)расистки, или хотя бы нео-марксистки, — но и не была из тех сотен безликих «специалистов», тихо прячущих нечитаемые статейки в журналах и невнятные доклады на конференциях между скушными лекциями сонным студентам. Солидная, иными словами, позиция в профессии, приметная многим, но не мировой авангард модных.

И параллельная жизнь в своих романах (по штуке в год), придумывая людей приблизительно одного круга, или, лучше сказать, класса — в не столько социальном, сколь в культурном, старинно-британском, значении этого слова; людей, у которых вроде бы всё хорошо — и по праву так, но на каком-то уровне всё нехорошо или шатко, и может обнажить эту глубинную нехорошесть и несущность этой куда-то текущей жизни в любой момент.

Когда я стал бывать в Институте Курто (пишу здесь на старый русский манер, хотя давно уже говорю по-английски «Кёртолд»), а потом присоединился к нему на пару лет в полуфантомном качестве профессора-исследователя Research Forum (совсем фантомный след остался в виде включённости в рассылку и необновляемого пропуска, по которому можно ходить в Галерею Курто и Королевскую Академию Художеств), так вот, А. Брукнер тогда была уже на пенсии — жаль. Не познакомились. *The Bay of Angels, Strangers* (дал почитать К., наказав вернуть), не помню, что ещё...

Кстати, прочёл сейчас названия её романов, набранных в столбец на авантитуле пингвиновского издания «Гостиницы у озера»:

A Short of Life
Providence
Look at Me
Hotel du Lac
Family and Friends
A Misalliance
A Friend from England
Latecomers
Brief Lives
A Closed Eye
Fraud
A Family Romance

A Private View
Incidents in the Rue Laugier
Altered States
Visitors
Falling Slowly
Undue Influence
The Bay of Angels
The Next Big Thing
The Rules of Engagement
Leaving House
Strangers

Это может читаться само по себе — как конденсированный метароман, когда названий, и особенно их взаимодействия, достаточно, чтобы замереть и начать всю эту историю (или жизнь) видеть — *with the eyes wide shut*.

«Манга Хокусая» попала в шорт-лист премии «Книга Года». Объявление победителя — 6 сентября. Надо ехать заранее забирать приглашение на церемонию, но неохота выходить. О. Трофимова посоветовала послать поклонницу. Подумал: С.? Р.? Кого-то ещё? И написал ФФ. Утром она позвонила и согласилась.

Суббота, 23 (?) сентября, 12:40, в койке

Научился не размыкать взоры, когда просыпаюсь. Т. е. не научился, а само как-то так стало — лежишь себе и вдруг осознаёшь, что за окном шум, в голове вялые дневные заботы, а в глазах темно.

Под утро снились родители — папа сидел где-то в стороне, за тёмным концом стола, а мама — рядом. Спросила: «Ты мне ничего не привёз?» Я стал смущаться, оправдываться — стремительно-де прибыл, ничего не успел захватить. «Или вот», — говорю и протягиваю какую-то то ли вазу, то ли урну. Смотрела укоризненно.

Обихаживает ВЛ, звала кататься на велосипеде — отказал. Ц. — тоже. Отговорился тем, что весь день буду сидеть дома и работать. А потом вышел с трубкой в парк — а она катит навстречу. Конфуз.

В ночь покаяния снилось. Дома (где? в каком?) за большим столом, под неяркой лампой и в общей полутьме я, наискосок — с другой грани стола — сын-подросток, 12–13 лет (скорее Габи, чем Ясик, лица ясно не видно, но волосы светлые). Читал что-то (он). Тут зазвонил мой телефон (или будильник в нём). Мальчик по нему слегка стукнул — чтобы перестал звонить (он лежал на столе ближе к нему). Но тот не переставал, он стукнул ещё и ещё довольно сильно. Тут я громко и раздражённо: «Не колоти, разобьёшь!» Сын испуганно-смущённо посмотрел на меня — в глазах слёзы, и чтобы скрыть их, наклонил голову к столу, закрывшись листом бумаги. Видна была только макушка и слышны тихие всхлипы. Ещё когда он только взглянул на меня, я сказал что-то типа: «Прости, что я повысил голос, но я же уже говорил тебе не колотить так сильно по стеклу — может вообще разбиться...» Но у него

опять полились слёзы, и он спрятался — и тут я, чуть сам не заплакав, положил ему ладонь на голову и сказал, как можно виноватей и проникновенней: «Прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть» и ещё что-то. И тут заметил, что с другой стороны стола, почти невидные в темноте, лишь с лицами, смутно освещёнными лампой, сидят папа с мамой и молча на меня смотрят. Тут я проснулся. Проникся. Вот только чем? И да, я помню, как Ясик несколько лет назад колотил по клавишам моего ноута — и выбил Enter. Наверно, хоть тогда никто не орал и никто не плакал, какая-то почему-то виноватость во мне засела.



Идиотский daytrip в Питер с дурацкой презентацией в Кунсткамере был скрашен кроличьим рагу от издателя и фарфоровой лавкой, где купил Белке две чашки в розовую сетку. В последнем Сапсане странный молодой человек всю дорогу покушался говорить со мной по-английски, просил не бояться признаться в том, что я американец, и настойчиво угощал вонючей местной рыбкой под названием то ли сикильдявка, то ли нетопырка.



В СПб обозревал японскую экспозицию: половина вещей — «трофейное искусство» из Берлина, подчас неправильно надписанное и абы как вперемешку выставленное.

Вообще, странное какое-то ощущение в Эрмитаже — вроде бы храм искусств и дворец, но начинается он даже не с вешалки, а кассы. А в кассе говорят, что членам АИС бесплатный проход отменили — плати, как все. Заплатить не жалко — я б и сам в стеклянный ящик бросил чего, но когда требуют денег с людей своей профессии —

что это, как даже не жадность, а мелкое крысятничество (кстати, в Европе-Америке искусствоведов пускают без проблем). А тут даже сразу билет продать не могут: потребовали паспорт — для доказательства того, что моя не вполне крестьянская физиономия не принадлежит иностранцу, с коего надо слупить вдвое. Той же процедуре выявления гражданства подверглись оба моих спутника.

Потом на пресловутой вешалке тётка отказалась взять мой чемоданчик — размером с самолётную ручную кладь да к тому же совершенно пустой, т. е. лёгкий, ибо взят был для того, чтобы положить туда несколько книжек «Манги» при отъезде. На вопрос: «Где можно тогда оставить?» остроумно ответила: «На вокзале». После некоторого препирательства и при посредстве глазастости моего спутника оказалось, что у гардеробщицы есть ячейки, куда мой чемоданчик вполне поместился. Ну и т. д. А так, да — всё прекрасно — Пьеро делла Франческа, коему не помешала даже развеска и специфические экспликации и т. п.



Флэшмоб в ФБ: десять фактов из жизни, из коих двух не было.

1. Я жил послушником в буддийском монастыре.
2. Мне довелось купаться в шторм гольшом с тремя пьяными девушками.
3. Из-за меня не состоялся сеанс дальней космической связи со спутником «Венера-2».
4. В составе спортивной сборной Израиля я лепил снежную бабу в Японии.
5. У меня сохранился шрам от удара ножом, когда мы не поладили с одним крутым парнем по имени Мак-Кензи.

6. Я жил одно время в доме-лодке на канале в Манчестере.
 7. Однажды я был в гостях у престарелого члена фашистской партии и распивал с ним крепкие спиртные напитки.
 8. Я участвовал в спецоперациях по поимке драгдилеров.
 9. Я не раз выпивал в Париже с графом де ***, прямым потомком феи Мелюзины и по боковой — Анны Ярославны.
 10. Мне приходилось купаться в ванне с шампанским.
1. Было. Ну т. е. болтался там, медитировал с переменным успехом, на огороде работал, дорожки подметал.
 2. А вот этого как раз не было — т. е. девушки о натюрель были и не раз — то в Лисьей бухте близ Судака, то в Пальчиковых озёрах в апстейте НЙ — но ни разу в шторм. Я, как известно, бедовый, но не настолько.
 3. Удивительно, что все как один не поверили — а что такого: я служил в Советской армии в Центре дальней космической связи, работал по «Марсам» и «Венерам» (ударения в обоих случаях на последний слог), был оператором антенны. Проспал однажды, в антенне лёжа.
 4. Лепил, конечно. В Саппоро, на фестивале Юки-мацури. Документ имеется.
 5. Шрам на руке — я прикрыл живот — всем, даже девушкам, могу показать. Кстати, неплохой в общем парень был это Мак-Кензи. Спустя несколько лет его убили в баре — бутылкой по голове.
 6. А вот этого не было. Я собирался было купить boat-house, но не хватило денег, а потом денег накопил, но расхотел. Теперь на что хочу — не хватает.

7. Можно сказать, что это не совсем правда, поскольку напитки были не такие уж крепкие — сакэ мы распивали с фашистом. Одна принципиальная френдесса аж покраснела, читая это. Зря. Это был не немец-нацист, а именно что фашист — член Русской фашистской партии, маргинальной группы клоунов Радзиевского в Китае, его Токийского отделения. Мирный старикан по фамилии Белоус, чьё фашиство перед войной выразилось в том, что он соблазнился бесплатной формой — чёрной рубашкой и сапогами-бутылками и пару раз прошёлся с группой таких же русских (или малорусских) бедолаг по Токио. Был моим информантом, когда я опрашивал старожилы Токио и Йокогамы по одному проекту. А членом этой партии он перестал быть лет за 50 до этого.
8. Истинная правда — ещё как участвовал! Стыд и позор тем, кто не поверил — что, профессор, по-вашему, недостаточно мужественно выглядит? Ок-ок, вы немножко правы: я не бегал за бандитами с пистолетом и не заковывал их в наручники. Я сидел в наушниках на перехвате драгдилерских телефонных разговоров (в основном русских, но иногда ивритских и японских и, разумеется, английских) и оперативно передавал информацию полевым агентам, которые, исходя из этой информации, и ловили и стреляли, если требовалось.
9. Да, живой потомок Анны Ярославны. Довольно симпатичный, но слегка чокнутый. Муж итальянской принцессы ****, которая приятельница П.
10. Вот фото: ванна, я, шампанское Моет на бортике. Приехали на машине из апстейта НЙ в Монреаль праздновать моё 50-летие. Ну т. е., конечно, ванна не наполнена шампанским, но из текста этого и не следовало.



Написал старой подруге, отвечая на вопрос как поживаете: «Всё порхаю, кряхтя и прихрамывая». Отличная аллитерация получилась, а? Кажется, в русской любовной лирике немного строчек с хр-хр. Надо бы развить в сонет какой-нибудь, что ли.



Друзья попросили написать вступление к каталогу выставки. Сел, задумался и враз начертал:

Карнация, иератичность,
Эмалевость и геральдичность,
Нимфеточность и лёгкий жапонеск.

Долго смеялись, но попросили это снять.



Получил извещение о конференции на вполне серьёзную историко-художественную академическую тему, которую устраивает один весьма почтенный американский университет в одном прекрасном городе, не столичном, но славном музеями и архитектурой. И — вероятно, чтобы обеспечить аншлаг — организаторы обещают насыщенную культурную программу: знакомство с «local histories of LGBTQ and African-American communities».

Уже было закушенный калач задрожал в моей руке...



В День открытых домов побывал на обычно закрытом кладбище — темплеров в Долине духов. Видел там мо-

гилку Славы Курилова и Серёжу с Ликой Рузеров. А ещё познакомился с хранителем кладбища Мево (или Мери), который радушно приглашал заходить по мере надобности. Подумал: и впрямь. Хотя Иностранное в Йокогаме, да и Переделкино всё ж поживописней будут.



Что-то пустота какая-то — ни писать книги, ни читать книги. В груди стеснение. Неприятно представить, что неполадки в сердце, и скоро может отказать. Стал думать: как подготовиться — и понял, что никак. Точнее, незачем. Не побежал никуда что-то делать, доделывать, оформлять...



Finished the book. Impressive finale. The protagonist ends up reserved, composed, resolute, and devoid of anything and anybody. (Anita Brookner, *Hotel du Lac*)



Несколько дней болело в середине груди, стало не хватать воздуха при быстрой ходьбе или подъёме на уровне четвёртого этажа. Решил провериться — ЭКГ, стресс-тест на дорожке-трёмиле... Всё оказалось в порядке: от давления до выносливости — по поводу последней даже сделали комплимент. Вероятно, это пресловутый выход в соматику — от привычки жить сквозь стиснутые зубы и с ознобом в груди.



Идти через неделю в ПостНауку прочесть 3 минилекции, а потом сразу на семинар в Венецию — к коему не прочёл пока ничего.



“During those years he had learned another sad truth: Small wounds are healed by time; but time can only bandage great wounds, which continue to bleed in secret”. (From Edward Rutherford’s *Paris*).



Читаю интервью с заезжим поэтом. «Удалась ли ваша жизнь?» — спрашивает журналист, коего профессия понуждает быть бестактным. Хорошо, что мне не задают такие вопросы. Чуть заикнись — многие кинулись бы убеждать, что, разумеется! видно же! — и профессионально, и по-человечески, а если не видно, так это от неправильных установок и депрессии. И были бы правы в каком-то смысле. Но смыслы эти бессмысленны. А вопрос неприличен.



Много лет я — при блаженном обмирании подруг и восхищённом благоговении подрастающего поколения — открываю бутылки с помощью ботинка и стены — в гостиничном номере, при переезде в новое обиталище, когда штопор неизвестно где, или в лесу или парке — тогда стену заменяет дерево. И вот случилось то, что почему-то всё-таки случилось: бутылка разорвалась в руке — причём, прям как любви пылающей граната лопнула в груди Игната. Дождь багровых осколков окатил окоём, звякнув по люстре и очкам, донце осталось в кроссовке, а с пол-

дюжины блестящих крапинок — в ладони. Последний (??) кристалл выковырял сегодня утром, после того, как он уютно проспал ночь, укрывшись в разрезе.

В итоге — двенадцать царапин и порезов, двухчасовая череда набухающих ватных тампонов и задумчивость — как жить дальше. Плюс конфуз, и причитанья бедной Ц. Чувствую себя как старый циркач-эквилибрист на ненатянутой проволоке, впервые свалившийся на арену под ахи дам и гогот молодой шпаны.



Listening to Johnny Cash: “I am a poor wayfaring stranger...”
А ведь брутальный мужик с квадратной челюстью. Хаха.



1 декабря

Бывает, проснёшься сильно за полдень и чувствуешь себя нехорошо — *petulantly*, *peevishly* — никуда, куда собирался, неохота идти, ни в химчистку, ни на книжную ярмарку... Всё не так, отзыв какого-нибудь дурака в фб раздражает и печалит, отсутствие отзыва какой-нибудь дурёхи не просто раздражает, а печалит несоразмерно... Тянешь невкусный чай из Гималаев и читаешь рассказ в *New York Times* об измене, любви и пустоте. Оттягиваешь идти на выставку, где будут с тобой здороваться незнакомые и малознакомые, и где будешь чувствовать себя неуместным идиотом, одновременно скучающим и что-то безнадежно ищущим.



Всё-таки выбрался, встретил И., которая скрасила толкотню в залах, двух приятных литераторов, и некую издательницу, предложившую сделать книжку. Обещал подумать, но зачем мне это? Оттуда, с И. в качестве гламурного эскорта — в какой-то, блиставший огнями и шампанским культурный центр, где объявляли премии — меня выдвинули, но не дали. Хорошего понемножку.



Venice, water, death...

Watched “The Correspondence” (2016) with Jeremy Irons and Olga Kurylenko. Irons’ character, a not-so-old professor of astrophysics, anticipates his impending death (later we learn that it’s a brain tumor) and prepares many messages via phone, emails, CD’s, keys, packages and even his lawyer for communication with his lover-student. (Kind of an electronic stalking — but she likes it.) At the same time he avoids personal contacts, and sometime in the middle, she realizes that he is long dead. But messages are keep coming and, at the end, he bequests her a summer house in Italy and guides her through her MA thesis.

I thought that it was not only kind of scary (and a sick idea to begin with) — to be guided (almost closely watched) by a dead person — but it could work if she followed his instructions or acted according to his anticipations. And this was rather naïve to expect. She could easily move forward with her own life. The naivete of the old professor, the old lover, of the dead person who does not know that those who are alive, move on. Especially children or women. The dead — or simply those disposed and tossed away — are simply left behind. Those who are left behind: they are kind of dead.



Читая о Бродском в Венеции

Оказывается, есть «философия номадизма», где термин «номадизм» выступает как метафора постмодернистской субъективности (например, «номадология Делёза и Гваттари»). Это из довольно поверхностной и чуть не постколониальной статьи некоей финской славистки.

Забавно, когда я писал о постмодернистском кочевнике в начале 2000-х, я понятия не имел, что это философская мода. Что же я тогда написал? — «В тексте отложился личный опыт протагониста — постмодернистского кочевника, странствующего по земному шару в поисках своей Итаки (отлично зная, что её больше нет) и исчезнувшей Пенелопы (отказываясь признать, что она давно сбежала)... Метатекст жизни дипломированного пришельца, профессионального перипатетика-чужака по способу жизни и самоидентификации». Под «дипломированным пришельцем» я, кажется, имел в виду официальную справку о том, что я “alien of extraordinary abilities”. Куда что делось...



Сижу на заседании учёного семинара и слушаю каббалистические рассуждения про два типа женщин. За окном нетипично солнечно и сухо, но холодно. Окна моей комнаты в Locanda del Ghetto выходят прямо в канал, внизу привязана лодка, в которую подмывает спрыгнуть, ибо до неё от силы чуть больше метра. В метрах пятнадцати направо, у мостика, стоит на приколе гондола с девой-гондольершей — говорят, одной из двух во всей Венеции. Похоже, работы у неё сейчас немного.



Среди участников семинара один сказал, что был на моей лекции в «Бабеле» за две недели до того, другой — что помнит мою речь с «ха-ха» при вручении премий «Книга Года», а третий вспомнил, что мы с ним вместе участвовали четыре года назад на конференции про кентавров. И я вспомнил, что на ту конференцию явился буквально с самолёта из Венеции.

Случайно сидел на занятии рядом с одной венецианкой и невольно отметил её тонкий профиль, который показался мне чем-то знакомым, хоть никогда раньше её не видел.



Прилетел в Москву, пустился во все тяжкие — третий день по две выставки или лекции: Андрея Ремнёва и Глеба Смирнова, на другой день — Таня Ян и МАММ, потом Ф. Инфантэ и фильм в ГТГ про «А–Я» к юбилею Игоря Шелковского. Мило общались с фотографом Раулем. Видел Эрика Булатова, Евгения Барабанова, Сашу Юликова, Бажанова, Бакштейна, даже Тамручи, которую больше признал по резкому тонкому голосу, ибо сильно изменилась на личико. На моё приветствие она что-то злобно буркнула и побежала прочь.

Презентация Г. Смирнова его книги «Метафизика Венеции» была любопытна по жанру. Автор, вероятно, решительно чуждый техническим инновациям, долго не знал, куда деть докучливый фалл микрофона, пока некий трикстер в маске профессора во втором ряду не посоветовал засунуть его в стакан. И всё отлично получилось!

Завтра — на «Котовасию» в Трубниках с Вассой и на «Старую квартиру» в Провиантских складах.



Reading Olivia Laing, «The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone»

“If loneliness is to be defined as a desire for intimacy, then included within that is the need to express oneself and to be heard, to share thoughts, experiences and feelings. Intimacy can’t exist if the participants aren’t willing to make themselves known, to be revealed. But gauging the levels is tricky. Either you don’t communicate enough and remain concealed from other people, or you risk rejection by exposing too much altogether: the minor and major hurts, the tedious obsessions, the abscesses and cataracts of need and shame and longing.”

“Cities can be lonely places, and in admitting this we see that loneliness doesn’t necessarily require physical solitude, but rather an absence or paucity of connection, closeness, kinship: an inability, for one reason or another, to find as much intimacy as is desired.”

“So much of the pain of loneliness is to do with concealment, with feeling compelled to hide vulnerability, to tuck ugliness away, to cover up scars as if they are literally repulsive. But why hide? What’s so shameful about wanting, about desire, about having failed to achieve satisfaction, about experiencing unhappiness?»

“Speech failures, communication breakdowns, misunderstandings, mishearings, episodes of muteness, stuttering and stammering, word forgetfulness, even the inability to grasp a joke: all these things invoke loneliness, forcing a reminder of the precarious, imperfect means by which we express our interiors to others. They undermine our footing in the social, casting us as outsiders, poor or non-participants.”

What a funny choice of the late night (or rather an early morning) reading!



На выставке замечательного поэта были его замечательные карточки, прекрасные книги в витринах, его фотографии и видео с чтением стихов и прозы. Но для оживляжа, то бишь контекста, организаторы насытили выставочное пространство визуальными артефактами его времени и его круга.

Ох уж эти артефакты... Ох уж это искусство мутантов советской системы, Arte povera живущих на зоне, уже не убивающей, но деформирующей. Бедные листочки и тряпочки, самодельные коробочки с трубочками и прихотливыми названиями... Издательские вариации на темы советских лозунгов... Обхохотаться можно. Щемящее, ностальгическое и неловкое чувство — как стыдновато-неловко слушать ныне большую часть песен КСП. И да — концептуальная ирония по прошествии 30–50 лет выглядит ничуть не тоньше и не ближе романтики походов и костров. (А ведь, пожалуй, «Поездки за город» и были интеллектуально-акционной антитезой таких походов.) Время было хоть и прекрасное (мы были молоды), но в общем дрянное — и это искусство было вишенкой на говённой куче.

Но карточки как приём — остались. Тексты АСР остались, ибо это всё-таки поэзия. Поэзия времени, как я когда-то выразился, тасования карточек из лишённого стержня каталожного ящика культуры.

А главное — остались фото. На которых лица. Они большей частью прекрасны. Ибо большей частью эти люди были больше и лучше того, что они сделали в искусстве. Грустно, но справедливо, что совсем скоро об их поделках будут знать лишь аспиранты, прядущие о них диссеры, да фрики архивного дела.



Умер Амос Oz...

Случилось так, что я сначала услышал о его политических взглядах и высказываниях — которые показались мне несимпатичными (хотя что я знаю — сторонний пришелец-верхогляд, и что видел и через что прошёл он — очевидец и участник всего, включая войны и смерти!). Так вот, я долго не брался его читать, а когда стал — едва ль не случайно, увидев в одном доме на прикроватном столике его «Повесть о любви и тьме» — то втянулся и увяз. Потом купил в одном аэропорту «Иуду» по-английски — и втянулся в этот мир странных, выброшенных из мира или не могущих в него войти людей, ещё больше. Сам Oz назвал свой роман историей про “error, desire and unrequited love”.

25 октября мне выпало слушать Оза и немножко поговорить с ним. Я спросил: «Почему Шмуэль Аш должен был покинуть дом Гершома Вальда и Аталию»? Oz, утомлённый предшествующим рассказом и вообще выглядевший сильно усталым, ответил сбивчиво, и суть я как-то упустил. Подумал, ладно, улучу момент потом.

Прошло два месяца, и вот стало ясно, что момента больше не будет. Но его книга и фото его рук, надписывающих её, остались.



Чтение — и гляденье за чужой жизнью за поздними завтраками — окаянного фб препаскудно депрессирует. Моё собственное предъявление себя миру — это или ироикомиические реляции на набившую оскомину тему «Хокусай и я», или невнятные сигналы из склепа (или сенакля), прозрачно упакованные в бутылки цитат и прочие центоны тёмного стекла. Интересно, откуда вдруг

вылез этот патетический «склеп»? — наверно, из записок патера Печорина, перевранных памятью.



Лёг рано — часа в два, и даже заснул, но около четырёх проснулся и долго лежал на ложе в позе Сарданапала — коего ложе, как все, полагаю, помнят, было густо обложено умерщвляемыми наложницами и лошадьми и едва ль не дымилось от приближающегося пожара.

Чем была занята неделя? — ходил на выставку с тихой акварелисткой У.; получил мешок подарков от Б., (а ещё раньше книжку «Памяти памяти» от И.); молча сочувствовал жалобным постам бедной девушки ЮБ, обозревал выставку по мотивам Харджиева с ЮТ; поил чаем МВ; даже по-соседски катался на лыжах с КЦ, оказавшейся довольно неспортивной девушкой, несмотря на почти юные годы. Ещё надо поехать получить собственноручно слепленный горшочек от ШБ.

И нету даже спички, чтоб закурить...



Два года не был я в Японии, и что-то с ней в моё отсутствие произошло.

На с виду обычных японских едальнях появились таблички «халаяль» латинскими и арабскими буквами.

Идёшь себе по улице неподалёку от университета Васэда и замечаешь вывеску «Исламского научного общества» — заходишь внутрь и видишь, что наука эта — при отделе египетского посольства.

На улицах два раза видел парней, на куртках которых через всю спину написано что-то арабскими письменами. Может, цитата из Омара Хайяма.

По дороге в Асакусу проходишь мимо исполинской мечети, названной, впрочем, «Исламским культурным центром».

В самой Асакусе, где раньше гуляли худенькие красавицы (квартал любви Ёсивара был там) нынче встречаешь толстых малаек, замотанных в мусульманские платки и втиснутых в кимоно.

А рядом угрюмый турок жарит кебаб.

Возвращаешься в гостиницу и натыкаешься на объявление о том, как пройти в ближайшую мечеть.

Что-то у меня сделался, как говорят японцы, «карутя сёкку» (cultural shock), или по-русски, когнитивный диссонанс.



Жизнь полна вокзалами, номерами бедными...

Проснулся в гостевом доме для перелётных учёных на окраине Кобэ. Увидел в ленте, что Макаревичу — 65. И преобладающий снисходительно-пренебрежительный тон: исписался, продался, то олигархам пел — чтоб заработать, то на Украину ездил — чтоб к своему нулевому рейтингу внимание привлечь.

Фу.

И здраво рассуждающие эстеты здесь смыкаются с гопниками — типа той, чей комментарий красуется под песней «Слишком короток век»: «Макаревич куда, куда. Кефир, клестир и тёплый сартир. Спокойной ночи дедушка». (Подпись: Даная Хасенова). Вот она — молодая шпана, к которой зывал БГ, чтоб та пришла и стёрла нас с лица земли.

А я ценю свои ощущения и воспоминания тех лет. И, как было сказано по другому поводу, я друг своих друзей.

Впрочем, чего это я тут, пора на гостевую лекцию. Раз в Кобэ, так не выкобенивайся.



Когда думаешь о друзьях и знакомых, коим за 70, 80 или 88, ловишь себя на мысли, что ожидаешь услышать об их смерти. Следующая мысль — что ожидаешь услышать и о своей — чуть позже. А, может, и чуть раньше. Впрочем, кто ж поделится такой новостью в фб!



В Музее Ли Ювана на острове Наосима видел его картины, состоявшие из длинных, во всю ширину, полос-мазков кисти — сначала полные туши и влаги, потом всё бледнее и суше вплоть до полного исчерпания туши внизу листа. В точности такие же я делал в 1987–88 в Судаке.



10 декабря

На станции Окаяма, направляясь в Аки к 47 роницам, на платформе местных поездов увидел европейского старичка, с белой бородой во всю грудь, с длинными волосами из-под бордового берета с помпоном. С палочкой, без багажа, со стариковской сумочкой на ремне через грудь. Зачем он живёт в японской глубинке? Как его занесло — более-менее понятно. Но как не вынесло? Почему не уехал или не сменил стиль, не мимикрировал под местных? Или наоборот — когда понял, что с возлюбленными японцами слиться невозможно, решил выступать как

гномик из сказок или добрый дедушка из рождественских рассказов?

А я ведь тоже к этому иду, кажется.



Хвалёная японская вежливость — в вагоне электрички сидит семь студентов. Стою я — гайдзин седобородый. Встаёт выходить один передо мной, тут же на его место плюхается парень лет двадцати, стоявший рядом со мной. Чуть в стороне стоит пара пожилых дам. Весь ряд занят молодняком. Усевшийся перед моим носом студент достаёт телефон и начинает играть с ним в карты.



Проезжали реку Тамагава — рядом с мостом шалаш из синей рогожи. Бомж неторопливо возится с какими-то тряпочками на ярком солнце. Ритм жизни — особый, замедленный. Спешить некуда: топтаться перед шалашом, развешивать на солнышке тряпочки. Лежать, спать. Интересно, как у них с депрессией? Деменцией? Альцгеймером? Сердечно-сосудистой дистонией? Их стало намного меньше, огромных лежбищ. Того, как было в подземных лабиринтах Синдзюку четверть века назад, уж нет. Эти — die-hard mohicans. Похоже, чем дальше, тем больше я чувствую с ними какое-то сродство.



Рядом с Музеем Нацумэ Сосэки, что в токийском Синдзюку, неподалёку от университета Васэда, есть школа. Когда я выходил из музея, по улочке шли группы школьников — по два, по три, по пять... Их, видимо, только что распустили.

А за ними один мальчик, лет десяти, шёл один. Он был одет как все — в кителе с золотыми пуговицами, в фуражке, из-под коей торчали волнистые каштановые волосы. Черты лица были европейские.

Почему-то вспомнилась книжка Сосэки «Мальчуган».



14 декабря

Почитал лекции в университете Васэда и в Кобэ, а также презентировал книжку в Ostasiatische Gesellschaft, отмок в психоделической бане на Наосиме и вот лечу над Японией. За бортом солнечно. Поля, дороги, реки жемчужно переливаются (недаром столько их зовётся Тама — Жемчужная). Вспоминается танка древнего императора Юряку: «Сколь прекрасна ты, Земля Стрекозиных Островов!»

Влетели в Россию — серая пустыня. Горки-сопки рядом, как стиральная доска. Нигде ни признака человека. Лишь через тысячу километров в тайге показалась прямая нитка дороги, а вслед за ней — большой прямоугольник посреди этой буро-серой пустыни. Лагерь, наверно.



Бывает так: прочтёшь какую-нибудь новость или просто поднимешь голову от неизвестно чего — согласишься в пространстве и в очередной раз остро представишь себя дядей Ваней, корпящим над амбарными книгами чужого имени.

(3 pm, готовя лекцию «Япония и евреи»).



24 апреля, on board to JFK

Завтра читать в Принстоне, послезавтра в Йеле, 30-го в Колумбии, а рано утром перелёт в Лос-Анджелес и там вечером в Помона-колледже. Собственно, лечу туда к Габи. А всё остальное — суета и бег на месте.



Сижу в лос-анджелесском LACMA. Половина его закрыта на реновацию. Из оставшегося вызвал какие-то чувства лишь Ричард Серра с его ржавыми циклопическими стенами из железа. Всё остальное — современный мультикультурный разноцветный стар.



Ок. двух ночи, в сабвее в аптаун

Вошёл пассажир. Короткие чёрные волосы, но на макушке пучочек с грецкий орех, очки, толстоватый — то ли баба, то ли парень. Бесформенная чёрная тишортка. Ниже пояса — серые шорты типа трусы семейные. Под ними — обтягивающие блестящие штаны чуть ниже колен. Вроде, так девки, что поглубей, ходят. Но ноги — в той части, что выше чёрных ботинок без намёка на шнурки — чудовищно волосаты. Кто оно? Парень? Скорее всего. И тут оно достало клубок и спицы и стало споро вязать. Я не против middle sex, любопытно просто.



Ночь, числа не знаю, в начале января,
около пяти

Летом я ложусь, когда светает. Зимой встаю, когда темнеет. Прямо Гюисманс какой-то, *À rebours*.



Сидя перед выходом на посадку ранним утром, увидел в ФБ: «Спустись к подъезду ненадолго». Позвонил. Она сидела на лавочке у моего подъезда. Поговорили минут пять, пока не настало время идти в самолёт. В голосе слёзы, говорит, крепилась четыре дня. Улетает в воскресенье. «Прилетай скорее», — говорит. Сижусь и против воли улыбаюсь.



У ворот в самолёт встретил Мишу Туваля, на лекции которого о Храмовой Горе был в воскресенье (а перед этим — на представлении спектакля Кабуки силами моих ребяташек на Oriental Crazy Day). В самолёте наши места оказались рядом, и он немедленно предложил выпить, что мы и сделали, и делали, пока не прибежала стюардесса и не предложила мягко, но твёрдо отдать ей бутылки. Миша пригласил на свою лекцию про еблю в Талмуде, а я его — на свою в «Бабеле» в воскресенье. Аллитерации, однако.



Года два назад прочёл по-русски «Стоунера» и тут же захотел по-английски, и вот сейчас увидел в Waterstones на High Street Kensington и купил.

Трогательная лаконичная обложка (отечественным бы умельцам так научиться не пестрить избыточной «визуальностью»). Три книги (с названиями, оставшимися за кадром) — исчерпывающая метафора для профессора литературы, чья жизнь из этих книг и состояла, а что было вокруг — то была хроническая и вялотекущая катастрофа. С поражением в любви, семье, карьере.

Выходец ниоткуда, внезапно ушибленный Шекспиром, он случайно прозрел, как по дороге в Дамаск, и увидел, что вернуться некуда. Он остался при университете. Stoned forever — во всех возможных смыслах: одурманен, окаменело стоичен и приговорён к пожизненному побиванию. За что — непонятно.

Друг Стоунера язвительный Мастерс говорит: “You are cut out for failure; not that you’d fight the world. You’d let it chew you up and spit you out, and you’d lie there wondering what was wrong. <...> You couldn’t face them, and you couldn’t fight them; because you’re too weak, and you’re too strong. And you have no place in the world.”

Стоунер жил, как Иов, но был иовичнее Иова, ибо ничего не ждал от отсутствующего бога. Сравню его, пожалуй, с Логаном Маунтстюартом (Logan Mountstuart, *Any Human Heart*) — при всей разности темпераментов и обстоятельств. Маунтстюарт мне, пожалуй, всё же ближе, хоть страшно подумать, что получится, коли произвести Stoner на тевтонский манер.



Собираясь встретиться в Париже и летя из разных мест, долго обсуждали, где и во сколько, пока не поругались. Мне предлагаемое решительно не понравилось. На следующее утро проснулся со стиснутыми в негодовании зубами и, сжатыми в решимости, покончить, наконец,

в очередной раз и навсегда, губами. Полез в почту — а там: «Милый, я всё сделаю по-твоему». Мгновенно растаял, а ещё мгновеннее — почувствовал спонтанную эрекцию, самовозрастающий логос этакий. Прямо как в женском романе.



Если б я писал в рифму, критики назвали б всё это исповедальной лирикой и рассуждали бы о лирическом герое, ибо, как говорил ещё капитан Лебядкин, «стихи всё-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью». Вот и я говорю всё время дерзости или сплошные неприличности, подобно тому, как господин Журден говорил сумбур вместо музыки или как Ипполит выкрикивал по своей тетрадке, а то и просто невнятно журчу, как разболтавшийся старый Мазай.



Есть дневники, которые ведут во время депрессии. Улучшится — перестают. А бывает, что депрессия такова, что записывать перестаёшь. Режим отложенной жизни.



6:05 утра — сна ни в одном глазу. Совсем перестал сюда писать. Вчера, во вторник, во время лекции, почувствовал себя плохо. Очень неприятно. Не исключал insult какой-нибудь. Дотащился до дому, лёг, написал обиняками, чтоб не потревожить, ВГ. Она, похоже, не поняла. Приезжала 5–10 и 18–23 октября, немного вместе. То хорошо, то грустно.

Собираясь в аэропорт встречать её (она не ждала, обрадовалась), встретил на улице Л., не знал, что она в городе.



Раствориться в небытии или раствориться в бытии? — Не один ли хрен? Пожалуй. Но в бытии всё-таки не так тоскливо. И иногда даже случается чистая, почти детская радость. И хочется скакнуть, как капитан Копейкин, за мелькнувшей перуджиновой Бианкой.



Сон: в городе, кажется, в Москве, узкая улица, похожая на Сретенку. Я из окна второго этажа смотрю наружу — серо, пасмурно. В доме через дорогу, наискосок, горит тусклая лампа. Там, в глубине, за столом — ВГ. Золотые волосы освещены лампой. Встаёт, подходит к окну, смотрит на меня, но не видит.



Сидели в парке. Она уезжала вечером. Вдруг стала уговаривать поехать вместе с нею — поезд отходит через два с половиной часа, я успею заехать за загранпаспортом. Она сойдёт в своём городке, а я доеду до столицы, сниму номер, куда она через пару дней приедет «на денёк». Засиял внутри себя, потом представил ожиданье в той столице, потосковал и отказался.



В субботу был на канале «Культура» — запись передачи «Тем временем» с А. Архангельским про эвтаназию. Отгу-

да — отвезли во ВГИК на конференцию «Цвет и свет» — прочёл доклад о свете в абстрактной анимации. Потом купил билеты в Америку. Наверно, поеду на машине из Сан-Франциско в Лос-Анджелес по живописной дороге № 1 вдоль океана — один.



За семь лет — семь книг и этак семеро подруг, из коих далеко не все были пушистыми козлятами, да и я — никому волком. Семижды семь стран и странствий. Хочу шмиту, субботний год. Sabbatical.



Why me, why now?

Уже довольно давно ловлю себя на том, что, вытаскивая пакетик чая из пачки, или, скажем, беря маслину из плошки, думаю: какой/какая вытащится — тот, что с краю, ибо очередь его подошла, или из середины — ибо всё в куче, и нет никакой очереди на аннигиляцию, а если и есть — никто не знает, как и кем она установлена, и почему тот пакетик стоит с краю, а тот — меж другими затерялся. А бывает, что весь ряд уже выбран, и соберёшься выбросить пустую пачку, а в самом начале, оказывается, за неполностью всё время открывавшейся крышкой, один притаился — и пережил сотоварищей. Или, бывает, нацелишься пикой в маслину, а она ускользнёт, и пика вонзится в другую. Интересно, есть ли в этом какой-то высший промысел? Почему-то вспоминаю в такие моменты Одиссея и его спутников в пещере Полифема — как они, сгрудившись в тёмном углу, смотрят, как сверху шарит по ним своим одиноким прожектором циклоп и опуска-

ет, не спеша, чудовищные свои пальцы — на которого из них?

В конечном итоге, судьба — это лишь проблема срока, вопрос времени... Наверно, это всё-таки совершенно слепой механизм — кого зацепят первым, а кого оставят на потом — пакетик чая, маслину, человека...

Штейнер Евгений Семёнович

Долгое размыкание

+16

Выпускающий редактор *А. В. Безрукова*

Корректор *А. В. Вревская*

Компьютерная верстка *Н. И. Павловой*

Дизайн обложки *Ю. А. Натерова*

Подписано в печать 20.11.2019. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура «Lazurski». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18. Тираж 500 (1-й завод 100 экз.)
Заказ №

ООО Издательство «Совпадение»
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 26-2, оф. 253
Интернет-магазин издательства: www.sovpadenie.shop